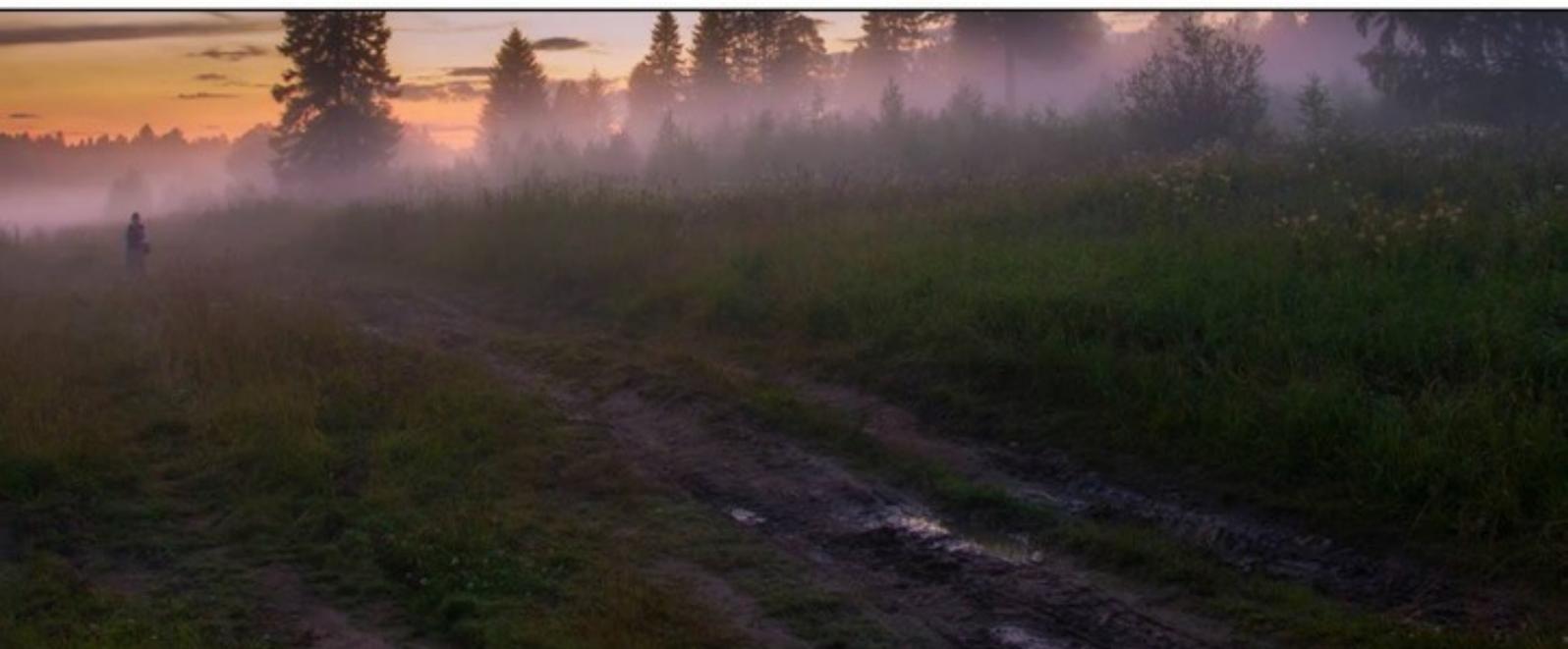


Алексей Ивин

*Хорошее
жилище для
одинокого
охотника*

Повести



Алексей Ивин

**Хорошее жилище для
одинокого охотника. Повести**

«Издательские решения»

Ивин А. Н.

Хорошее жилище для одинокого охотника. Повести /
А. Н. Ивин — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-903064-1

«Герой на испытании» — вот как следовало бы охарактеризовать тематику всех повестей Алексея Ивина. А пытку, как известно, не все выдерживают. Прекрасное время надежд (1960-е годы) сменилось апатией и застоем (70-80-е годы). А потом, как вы заметили, многое повторилось. Так что повести, нигде в свое время не опубликованные, ныне вновь актуальны.

ISBN 978-5-44-903064-1

© Ивин А. Н.
© Издательские решения

Содержание

Хорошее жилище для одинокого охотника	6
Давайте веселиться	19
Плеть и обух	39
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Хорошее жилище для одинокого охотника Повести

Алексей Николаевич Ивин

Иллюстратор Андрей Кошелев

© Алексей Николаевич Ивин, 2018

© Андрей Кошелев, иллюстрации, 2018

ISBN 978-5-4490-3064-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

©, Алексей ИВИН, Повести, 2017 г.

©, Алексей ИВИН, автор, 1980, 2007 г.

Хорошее жилище для одинокого охотника

Однажды зимой, в феврале, я пребывал в угнетенном состоянии духа: не хватало сюжетов для моих рассказов. А писать было необходимо: в доме не было ни крошки хлеба, последний кусок маргарина я извел вчера, потому что всухую картошка на сковородке пригорала. Много раз я выходил из дома и бродил по Невскому, пытаясь успокоиться, но всё напрасно. Напрасно я припоминал свои приключения, анекдоты из жизни знаменитостей со времен Рюрика и Мономаха, надеясь извлечь какой-нибудь сюжет: все мне не нравилось. Где бы занять денег до получки и сюжет?

И тут я вспомнил знакомого дипломата Венесуэльского, с которым был дружен и который меня похваливал. Отставного консула одной латиноамериканской страны. «Я у него никогда не занимал, надо рискнуть. Может, угостит не только рассказом, но и чем посущественней», – подумал я.

К счастью, Венесуэльский оказался дома. Я решил вести себя так, как если бы ни в чем не нуждался: такому охотнее подавали.

– Ты не представляешь себе, что такое деревенская любовь! – сказал он в ответ на мой вопрос, отхлебывая кофе маленькими глотками. – В городе парочке и часу нельзя провести наедине, разве что запершись в квартире, да и то их любовную воркотню будут прерывать телефонные звонки; в городе ты выставлен на всеобщее обозрение. В деревне – совсем другое дело! Там ты можешь носиться со своей любовью сколько угодно; знакомые к тебе не пристанут, никто не придет с пошлыми поздравлениями и пожеланиями счастья. При этом, там любовь требует меньших расходов: нарвать букетик полевых цветов, отнести своей девушке, вот и все. Главное, чувства там неизменны, не искажаются – ты меня понимаешь? – третий лишний почти исключен. А природа? Любовь на природе самая светлая, лиричная, интимная, самая тихая и бездеятельная.

Венесуэльский сидел, закинув ногу на ногу, и старался выглядеть беззаботно, но сквозь напускную веселость пробивался страхок. Этот холеный седовласый человек беспокоился, достоин ли я, чтобы поверять мне свои давно минувшие чувства, еще иногда отзывающиеся в душе. На какое-то время он замолчал; его потухший взгляд лежал на мне, как сургучовая печать; однако вскоре его сомнения разрешились благоприятно для меня, он очнулся, предложил сигару и закурил сам (лучше бы он предложил к кофе хоть пирожок с капустой, хоть это и по-русски).

– Я уже немолод и, наверно, мне нет нужды копаться в себе, причем добровольно... Но мне доставляет определенное удовольствие вспоминать тот случай: я выгляжу таким дураком. Ну, да тебе ведь нужна только канва, пропущенное дорисуешь, обогатишь чувствами и мыслями. Уж я-то знаю, как ты умеешь, извини за фамильярность, вкручивать баки. Вот и ладно. А я рад сослужить службу твоей сладкоголосой музе. У нас сегодня домашние пирожки из духовки...

– Вы предугадываете...

– Спасибо Лиза! У нас состоятся деловые переговоры с господином Ивиным, но через час я найду тебя проведать...

Удивляло, что Венесуэльский со мной торгуется, как заправский литературный агент, прикрывая коммерческую сделку лестью и товарищескими словами. (Надо, пожалуй, перестать быть веселым человеком, а то многие думают, что у меня куча денег). Он то и дело оговаривался, набивал цену будущему рассказу, так что поначалу его отговорки и далекие подступы меня бесили. Он выглядел барином. У нас так повелось со дня знакомства, что он обращался ко мне на «ты», а я к нему на «вы». Потому-то я так редко его навещал, что чувствовал себя придворным стихоплетом, которому благоволит вельможа.

– Ну, так вот, – продолжал он. – Отец отпускал меня гулять допоздна. В то время я уже влюбился в нее, она это замечала, но не подавала виду. Тогда я решил действовать по принципу: чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Интуитивно, разумеется, а не сознательно. И правда: я стал замечать, что выигрываю. Я прекратил с ней всякое общение, а в разговорах с друзьями отзывался о ней иронически, называл дурочкой. Да еще и волочился за одной ее лупоглазой подругой. В борьбе двух тщеславий мое должно было выиграть. Вскоре до нее стали доходить мои нелестные отзывы, истинную причину моего поведения она не поняла. Думаю, что и она хотела мне понравиться, хотя и не прилагала усилий к тому. А когда я от нее отшатнулся, ее симпатии возросли. Многие женщины странновато устроены: любят тех, кто о них не помышляет, а обожателей не замечают. Я имею в виду красивых женщин. А она была красива русской здоровой красотой – не нежной и пленительной, а именно здоровой. Каштановые локоны на лбу, лавина густых волос, рассыпанных по плечам, светленькие брови, голубые с малахитовым оттенком глаза. Стоило видеть, как она шла к колодцу за водой, легкая, веселая, а ветер обвивал платице вокруг ее стана. А смех? Когда она смеялась, хотелось смеяться вместе с ней: до того заразительно. Мне хотелось сидеть с нею рядом, обнимать за гибкую талию, смотреть в глаза – невинно, нагло, влюблено. Я почти физически страдал сперва, пока не заинтересовал ее собою. Я в те годы был большой выдумщик и немного не от мира сего, а она иногда по-мальчишески резковата, способна отчебучить что-нибудь этакое. А я конфуза не хотел, как все гордецы...

Мы все собирались в клубе, и она вела себя там как женщина; это тоже пугало. Я старался нравиться другим девушкам и, наверное, нравился: танцевал, – в то время танцевали шейк, – показывал, что я сильный, повеса, любитель выпить; в общем, рубаха-парень. Я понимал уже тогда, что уеду из деревни, и кутил чистосердечно, как бы на прощание перед долгой разлукой. Вечером однажды, помню, явился в клуб в накрахмаленной рубашке, в галстук-бабочке, а рукава закатал, потому что мне определенно нравилась мужественная волосатость собственных рук. Такой был напыщенный. Старался одеваться лучше всех местных ребят, которые приходили, чтобы сыграть в бильярд и поразвлечься анекдотами. Возможно, они меня не любили за франтоватость, за успех, – сами-то они были попроще и посердечнее. Но тоже не брезговали *d'education sentimental*: уединится такая парочка где-нибудь в темном углу или гуляют по улице, а потом, поскольку все это замечают и над ними начинают подтрунивать, их любовь уходила – в никуда, в песок. Воздействие общества. Потом эти кавалеры и барышни даже враждовали между собой. Все это было как-то шутя, с хохмой...

Но главное, конечно, было тогда в том, чего я и сейчас не в состоянии себе объяснить: было хорошо от избытка сил, совершенно провальной черноты ночи, когда, скатившись по лестнице, ты оказываешься за дверьми, на улице: пахнет так влажно, густо, таинственно скошенным сеном с лугов, воздух так тепел и густ, что в негоходишь, как в парное молоко. Темень непроглядная, стена из щелястых бревен, к которой прислоняешься, пока глаза привыкнут, суха на ощупь, и сразу за порогом тебя обмывает такая глубокая тишина,

что собственный топот на лестнице воспринимается нехорошо. Замрешь на минуту, со свистом переводя дыхание и вслушиваясь в глухое молчание влажной пахучей ночи, – и становится чуть не по себе; и вот, проглядываясь и привыкая, различая и соседние избы в виде обширных облаков сгущенной тьмы, и дорогу в виде смутной серой перспективы, берешь велосипед за холодный эбонитовый руль, – и в это время там, где особенно плотна тьма от надвинувшегося ельника, и откуда тянет особенно удушливо, – смолой, хвоей, мхом, – над всем этим пространством вдруг вспыхивает матовым блеском зарница. И опять тьма, еще чернее. Ни звука, ни дуновения, только гулко бьется сердце от полноты кровотока и свистит на зубах сдерживаемое дыхание. Где-то там, вверху, клубятся тучи, откуда-то оттуда, где равномерно, молча просверкивает зарница и пахнет головокружительным озоном, должно быть, надвигается гроза, а ты уже угадываешь пыльную дорогу, ведущую за околицу мимо пониклых черемух и низких палисадов. Дребезжит заднее крыло велосипеда, в серой убитой дорожной пыли вязнут колеса, ты едешь навстречу ночной грозе, навстречу грозовой туче, из которой тянет такими щекочущими, сладкими таинственными запахами, что просто свербит в носу. Страшно не того, что после каждой вспышки зарницы слепнешь от чернильной тьмы, и не сумрачного ельника по обеим сторонам дороги, в котором чудятся шорохи, шепоты, привидения, а страшно и жутко весело общего твоего душевного подъема, весело от возбуждающих электрических токов, которыми нагальванизировано все кругом, так что хочется вызвать самое грозу на поединок; и ты разгоняешь велосипед что есть мочи, чтобы чувствовать тугую волну встречного воздуха. Некуда девать силы, они переполняют тебя и волнуются, и сзади тебя подстегивает страх, и впереди он поджидает, но ты упорно стремишься вперед, а потом сворачиваешь на тропу в перелесок, потому что там еще страшнее трястись по корням деревьев, шуршать шишками по сухим иглам и шишкам, чтобы, минуя этот страшный сумрак и избегнув отовсюду простертых хищных ветвей, выскочить в открытое поле. Там еще не убран лен, и хорошо проехать по тропе, шурша, слушая, как звенят в колесных спицах сухие коробочки. Там посреди поля, можно остановиться, перевести дух и успокоиться. От нагретого поля исходит знойный дурман, от низкого неба и разорванных змеистых туч насыщенная влажность, и, встретясь где-то посреди, они стоят не перемешиваясь. Опушки поля не ощутимы, оно кажется огромным, и, медленно проезжая, чувствуешь себя точно в ночном океане на плоту. В другие ночи, когда не собирается гроза, а день был жаркий, проезжая под шелест льняных коробочек, окунаешься попеременно то в промозглый холод, от которого покрываешься пупырышками, то в знойную парную, – так неравномерно перемешивается ночная прохлада и дневная жара. Но самое упоительное – это постоять посреди поля минут пять, кожей ощущая как бы остекленелые прозрачные пространства над головой, если ночь звездная, или беглое, порывистое шевеленье туч там, наверху, если ночь пасмурна и с ветром. Тайна со всех сторон окутывает и растаскивает тебя, тайна и чудесное счастье тревожного одиночества посреди шевелящегося простора, наползающих теней, незаметных течений плотного, как вода, ветра и смутных шорохов в корнях травы. Этих пяти минут хватает, чтобы зарядиться счастьем и потаенным ликованием, и обратно возвращаешься уже не спеша, без нервов, порывов и боевой отваги, с полным спокойствием самодовольства, и даже ветер как будто в спину, и сполохи сзади не тревожнее, чем блики огня в печурке; а если в этот миг, при полном отсутствии грома и совсем непроглядной обстановке в небесах, на темя вдруг упадет полновесная капля дождя, можно и вовсе беззаботно рассмеяться. И опять колеса неразборчиво стучат по переплетенным корневищам деревьев, а потом вязнут в пыльных колеях проселочной дороги. Август зноен и давно не было дождя, он все только собирался всякий раз к вечеру и, не состоявшись, к блистательному солнечному утру представал в виде слоистой плоской тучи, растянувшейся по горизонту.

В семнадцать лет, конечно, я еще не чувствовал себя дипломатом, напротив, был скорее безрассудным и азартным игроком. Я не скрывал своих сил и тем самым возбуждал недобрые чувства. Это теперь я могу тебе с полной уверенностью сказать, что у нас на Востоке такое поведение целиком глупо и расточительно, что умные люди у нас ли, в Китае ли предпочитают кланяться и славить начальство, друзей и собеседников /а не веришь, включи телевизор/, и это считается признаком ума и обеспечивает карьеру, в то время как на Западе зачастую наоборот: крепких мускулов и безграничного самоуважения достаточно, чтобы пробить себе дорогу в жизни. Хотя я был еще в том возрасте, когда тусуются и любят ходить, что называется, кодлой и половое самоопределение слабо, но эти мои смутные, неосознанные порывы тоски и любовного влечения к Бабетте меня самого беспокоили. Бабеттой мы ее прозвали после фильма «Бабетта идет на войну», который пару вечеров крутили в деревенском клубе. Мне было несказанно радостно знать, что эта невысокая оживленная девчонка, которая жила через две избы от меня, в ситцевом платице в какой-то немыслимый синий горошек, таком коротком, что задирается под ветром, вообще существует, ходит на колодец по воду, брэнча пустыми ведрами, скалит остренькие зубки, отчего на щеках тотчас образуются обворожительные ямки, и с ней можно увидеться, когда захочешь, – хоть на том же колодце, к примеру, или вечером на баскетбольной площадке в поле. То есть, с одной стороны это было недифференцированное чувство приятельства, дружбы, влечения, а с другой – неловкость, скованность, ревность. Я, конечно, был первым парнем на деревне, но комплексами, которые впоследствии привели меня на дипломатическое поприще, уже располагал: с одной стороны, третировал и заочно оскорблял ее почему зря, а с другой – ревновал ко всем, с кем она в тот или иной вечер заговаривала или, не приведи Бог, уединялась. У Бабетты все было как у женщины, даже сознание своей красоты и качество, но при этом, со мной, она была настолько еще целомудренна и доверчива, что я чувствовал себя покровителем младшей сестренки. Изба у Бабетты была приличная по меркам тех лет – поместительный пятистенник, и семья правильная: отец хоть и шоферил, но пьяницей не был, мать заведовала почтой, детей не били, чего не скажешь о многих других семьях, где разыгрывались жуткие скандалы со стрельбой, убийствами, поджогами, драками. Она была именно правильная – в отличие от меня, необузданного, восторженного, она была доброжелательна, всегда с приветливой улыбкой и, что самое-то главное и для меня тогда привлекательное, – не вульгарна! Может, я ее идеализирую сейчас, по прошествии лет, но это действительно так. То есть просто поразительно, до чего грубы и неразвиты деревенские подростки в своем большинстве, но я ни разу не слышал, чтобы она грубо выругалась или попалась на каком-либо девичьем проступке.

Если ты не забыл свою юность, то, думаю, вспоминаешь, до чего тогда все было свежо, цельно, загадочно, нерасчетливо. То есть, кроме тебя самого, ничего другого не существовало; родители и сестра не воспринимались как другие и более важные люди; просто с утра до вечера шло непрерывное исследование окрестностей мира, как у косолапого щенка, и оно совсем не откладывалось в сером веществе мозга. А главное, все чувства были без «ваты» и без лени, как сейчас, они были интенсивны, я умел плакать, обижаться, интересоваться, пугаться, любопытничать, а этот пяточок земли верст двадцать в окружности был достаточным для меня миром. Если бы мне сказали, что я стану из Петербурга в Каракас и обратно перемещаться, я бы только брезгливо рассмеялся: «Зачем мне этот ваш Каракас? Молодая желтая репа только что с грядки, если ее в дождевой кадке помыть, перочинным ножом ошкурить и мокрый хвостик отрезать – вот это действительно здорово!»

С вечера я покрепче накачивал колеса своего велосипеда и, часов этак в девять, а то и в десять, в самую темень сразу за дверью окунувшись прямо-таки в африканскую ночь,

выезжал на нем и через минуту останавливался под окнами Бабетты. Особенно помню бурные, ветреные ночи с зарницами, с пробрызгивающим дождем (дождь именно пробрызгивал, горстями или отдельными каплями). Шесть больших беленых окон с резными наличниками были ярко освещены и занавешены плотным тюлем, за которым угадывались тени жильцов. Молодая береза, серебряная с зеленью, шумно и густо лепетала под ветром, впереди по улице еще горели несколько непогашенных окон и четкие квадраты света ложились в палисады и на дорогу. Над головой, казалось, задевая коньки крыш, висел чернильный полог ночи. Я выстаивал так по полчаса под ее окнами в надежде, что она выйдет, а соскучившись, даже высвистывал какой-нибудь мотив или швырял мелкими камушками в стекло. Отогнув занавеску, кто-нибудь из горницы выглядывал, сощурился и прикрыв глаза козырьком, как смотрят со света в крошечную тьму (это могла быть бабка, отец или сама Бабетта), а некоторое время спустя с отяжкой хлопала дверь, в коридоре гремело задетое ведро, и моя избранница в простом платье без рукавов, в зеленой вязаной кофте, наброшенной на плечи, в косынке из прозрачного газа или с красной шелковой лентой в волосах выбегала на лужок. Она усаживалась сзади на багажник, свесив голые ноги по одну сторону колеса, как ездят маленькие женщины, если они в платье, и я, гордый ее доверием и весом, вел грузный велик по направлению к клубу. Степень доверия между нами была еще совсем отроческая; она обнимала меня сухой горячей ладонью за пояс, и я нарочито напрягал мышцы живота и брюшной пресс под рубашкой. Я никогда не торопил события, потому что мы жили эти полтора десятка лет рядышком, всего-то через две избы друг от друга, я закончил десять классов, а она перешла в девятый, и что творилось где-то еще, кроме как между нами и в нашей деревне, нас не касалось.

Если в клубе никого не оказывалось, мы ехали за околицу в поле, где иногда до глухой полуночи играли в лапту или в волейбол под электрическим фонарем, который помигивал и мотался под ветром на верху телеграфного столба: уже от клуба было слышать стук деревянных бит или подачи мяча и глухие возгласы игроков. Если же и там никого не оказывалось, оставалось наведаться к Митреенкову ручью – местности в полутора километрах от деревни за речкой. Именно этот последний случай меня больше всего устраивал: еще четверть часа с милой девушкой наедине – что может быть счастливее?

Разница между деревенским человеком и цивилизованным та же, что между парным молоком из-под коровы и пастеризованным в пакетах: первое пахнет коровьим выменем, луговой солнечной травой и руками матери, а второе – сепаратором, консервантом и конвейером. Вся эта так называемая цивилизация – форменная паранойя. Век шестует своим путем железным. Уклонение в сторону условности и искусственности столь полное, что уже нельзя исправить. Поверь, я знаю, что говорю, поскольку давно возвращаюсь в сфере чистого разума, силиконовых грудей, туалетов от Пьера Кардена и надутых дураков, которым, едва они выползли из материнского гузна, нацепили бирку с номером и перевели на искусственное вскармливание молочной смесью из бутылочки, как недоношенных ягнят. Для этих людей и солнце-то, кажется, по швейцарскому будильнику встает. А между тем оно встает у нас в средней полосе России всякое утро по-разному: сперва ажурные утренние облака по кромкам багровеют, потом низко над водой утки пролетают, потом стена леса у тебя за спиной становится под лучами солнца прозрачно алой, как уголья в печи после хорошего сухого истопеля, потом ветерки начинают шевелиться поверху (иногда только два-три листика на отдельной осине блестят, лепечут, вздрагивают в полном безветрии); и только потом из-за горизонта разбрызгивается начальными лучами холодный рубиновый диск. И сразу становится холодно, свежо, зябко, от росы трава погнулась, точно осеребренная, и такой из-под низу и из укромных углов сада неистовый, колодезный холод в этот час,

такая от росы неистовая сырость, что так и загоняет в дом, к камину, если б он был, к открытой печурке, к сухой хорошей чистой постели. Несмотря на торжественный пурпур зари, так и дремлет, так и тянет в сон, хочется прикорнуть на разобранной постели рядом с котом, который теплым грузным клубком свернулся в ногах. Можно подчиниться утренней дреме, забраться прямо в рубашке под ворсистое одеяло, ногами чуя теплое место, нагретое спящим котом, и проснуться вновь уже без малого в полдень, в бодром самообладании всеми своими телесными силами. Но можно и воспротивиться сонной одуре, обуть легкие полусапожки с шерстяным носком, накинуть ломкую в плечах ветровку и спуститься по траве в сад. Он просвечен, прозрачен, блестит и переливается, и все-таки промозгло в нем, сыро, мокро, точно в колодце или в сталактитовой пещере, в которой каплет с потолка. В несколько минут солнце уже целиком вышло из-за горизонта и даже сильно поднялось над ним, с реки слышен пронзительный крик чайки, кружева облаков растаяли, и небо очистилось от края до края, предвещая длинный жаркий день. Если мне случалось в этот час бодрствовать, я выводил из сарая велосипед и гнал его, гнал и гнал по тропе вдоль реки, по хлебным полям, седым от росы, точно степной ковыль, и в этот час звенящей тишины был одной-единственной тревожащейся живой душой. Эти утренние объезды сонных полей были тревожны, упоительно счастливы, и в полчаса я забирал столько лучезарной энергии, что потом только и успевал, усталый и блаженно счастливый, прислонить мокрый велосипед к крыльцу и в сенях скинуть сапоги, одним жадным духом выпить густого, охлажденного вечерошнего молока с устоем и во весь рост и с полным правом растянуться на кровати. Сон наступал тотчас же, как погружается камень на глубокое дно.

Словом, я был из тех юнцов, которые, когда идут по тротуару, занимают его полностью – такой ширины вокруг них силовое поле. Теперь, когда ты представляешь, в каких условиях я жил, можно продвинуть и сюжетное действие.

Однажды поздно вечером я, как всегда, вызвал Бабетту из дома и, поскольку ни в поле, ни в клубе ребят не было, мы поехали на моем велосипеде к Митреенкову ручью. Тропу я угадывал лишь потому, что тысячу раз по ней ездил. Мы проехали около километра, потом пришлось свернуть и переть напрямик по льняному полю. У края, в васильках, Бабетта спрыгнула с велосипеда, и мы пошли рядом, беседуя о школьных делах. Траву в пойме уже подкосили, но еще не убирала, она лежала, набухшая от росы. Мои щегольские ботинки, конечно, сразу превратились в мокроступы. Бабетта оказалась предусмотрительнее: она была в резиновых сапожках, мостика через речку не было. Я попросил Бабетту перевести велосипед по мелкоте, а сам выбрал, где русло было поуже, разбежался и прыгнул. Прыгал тоже по наитию, как и ехал, но все обошлось, хотя на том берегу я растянулся, не удержавшись на ногах. Здесь уже отчетливо пахло дымом, и, как бывает в безветренную ночь, он просто расползся по речной долине и прибрежным кустам и, почти не смешиваясь, висел лоскутами. Глухо бормотал Митреенков ручей, вливаясь в речку, а из-за стены леса на том берегу доносились девчоночьи взвизги. Будь я один, я бы сейчас здесь, возле их костра, покружил, послушал, о чем они треплются, и преспокойно отправился в свой шалаш, который соорудил из ольховых кольев и жердей всего лишь в двухстах шагах отсюда, но Бабетта уверенно двигала прямо к костру. Точно со мной ей было тягостно, а там, в кругу возле костра, ее ждали.

– Сейчас у вас заработает сарафанное радио, – с сожалением бурчал я. – Слушай, давай хоть потом, когда все разойдутся, сходим в одно место, а?

– Сарафанное радио! Уж и поговорить нельзя, – сказала она, но ответа на мои закидоны не последовало.

Я тяготился просить, намекать, уговаривать, но в юности шла такая игра – ломаться: все девчонки ломаются, – и я в нее играл, хотя столь полная зависимость от их милостей меня повергала в непроглядную тоску. Так и казалось, что ты точно лохматая собачонка, которая лижет руку господина. Но в отличие от других девчонок, в Бабетте хоть иногда проглядывало дружелюбие и равенство. Я жил в мечтах, любил рыбалку и охоту, а того, что девчонки могли мне дать, я не очень-то и добивался. Просто не хотелось отставать от других, когда они хвастали, что уже занимались этим делом. Один якобы на сеновале, а другой – так просто дома, когда родителей не было.

Поднявшись по косогору, мы их увидели. Там, за лесом, было запущенное круглое поле, которое уже поросло осинниками и березняком в человеческий рост. На краю этого поля, по-над речкой и горел их костер – высокий, жаркий, пионерский. Петун подкладывал охапки еловых лап, в небо взмывали тысячи искр, девчонки визжали и ругали его – мол, в такую сухую погоду долго ли наделать пожару. Петун знай подкладывал, а Хряк – так даже грозился ляннуть из канистры бензинчику. Петун и Хряк – это друзья моего детства, чтоб ты знал. Они нас заметили и дружно заорали, и я понял, что сейчас надо говорить всякую чепуху. Шел как на казнь – так мне не хотелось, чтобы Бабетта становилась общей, предметом шуток и распросов.

Мы пробалабонили там до часу ночи. От этих разговоров, насколько я помню, никогда ничего не оставалось в памяти. Молодежные тусовки вообще бессознательны, а у деревенских сборищ то отличие от городских, что они романтичны и нет чувства униженности от того, что ты беден и не можешь сводить свою девчонку в ресторан. Транзистор был только у Хряка, да и то его собственной конструкции: принимал почему-то только областное радио. Мы наслаждались совсем не собственностью, а тесным кружком и томлением юности, когда предвкушаешь будущий длинный жизненный путь и грустишь Бог знает почему. Разговор идет о местных жителях, о школе, об отсутствующих друзьях, иногда даже есть что выпить (помню литровые, очень толстые стекла, бутылки с красным крепленным вином «Солнцедар» и отменный ликер, пахнущий орехами, под названием «Спотыкач»), и все, даже девчонки, охотно пьют прямо из горла или тут же изготовленного берестяного стакана. Важно то, что ты еще не дифференцируешь себя, ты всех этих парней и девчонок любишь просто до слез, до сердечной муки: так бы, кажется, и просидел всю жизнь у этого жаркого костра, передавая круговую чашу: такое дружелюбие и приязнь испытываешь к ним. Все впереди у тебя потому, что ничего другого и не надо, днем работать на сенокосе, или в лесу, или на огороде, а вечером сойтись вот так, побренчать на гитаре, выпить, рассказать байку, а потом дружественной оравой, с песнями и смехом возвратиться в деревню. Уже восток светел, зелен, и студеный утренний ветер нет-нет, да и ворохнется в листве, и петухи запевают по курятникам то в одном конце деревни, то в другом, а спать все не хочется – от избытка счастья, от прилива сил и щемящей грусти... Бог мой! Да если бы сейчас мне предложили начать все сначала, с тех семнадцати лет, первое, что бы я сделал, – приобрел бы охотничью лицензию, и второе – женился бы на Бабетте и уговорил ее остаться в деревне: она работала бы на почте, как ее мать, а я охранял бы леса от браконьеров. Если бы снова начинать, я сделал бы все, чтобы как можно меньше знать и видеть другой мир, кроме того моего мира. Это был рай, а я позволил вползти в него змию-искусителю.

В ту ночь Бабетта согласилась уединиться со мной в шалаше.

– Еще минут десять потрекаем и уйдем, – доверительно сообщила она. Все уже знали, что у нас с ней любовь, поэтому обсуждение наших планов прямо у костра, прилюдно никого не удивило. Эти слова так на меня подействовали, что я будто воспарил над землей. Чтобы хоть как-то унять возбуждение, я поднял холодный велосипед, вскочил в мокрое седло и совершил без остановки восемь кругов по полю. Я носился по его окраинам, с сатанинским наслаждением подминая молодые березки и осины, воображая, что я – реактивный самолет, который берет звуковой барьер, и во все горло распевая песню из кинофильма «Вертикаль»:

Если друг оказался вдруг
И не друг и не враг а – так,
Если сразу не разберешь,
Плох он или хорош,
Парня в горы тяни – рискни,
Не бросай одного его...

Даже с другого конца поля, где близость столбового леса и настороженная темь охватывали душу испугом и тайной, было слышно, как они смеются надо мной и называют ненормальным, однако я лишь посвистывал и орал пуще эту мужественную песню, чтобы хоть немного израсходовать ликование, которым было переполнено сердце. Я бы носился и дольше, но в колесные спицы попала ветка, и я растянулся в кустах. От земли пахло ночной мглой и ягелем, когда он набухает влагой и становится точно поролон: мягким и ужимчивым. Сквозь переплетенные ветви был виден костер: искры и пепел плясали в горячих струях жары, парни сидели вокруг на корточках и выгребали из золы печеную картошку.

– Я красноголовика нашел! – орал я из кустов, надеясь привлечь их внимание. – И еще одного! Ядреные!

– Тащи сюда, нажарим! – кричали они мне, и было похоже, что они меня тоже любили, – за добровольное шутовство, за то, что я азартно шумлю на большом пространстве поля и подыгрываю их коллективной дружбе. Это таинство у костра, это хвастовство и ломанье перед девчонками напоминало те отдаленные времена, когда весь первобытный род собирался в сухой высокой пещере, и женщины были так же ничьи, как и мужчины: весь день одни охотились, а другие собирали коренья, а вечером из общих припасов готовят ужин, костяными иглами с помощью жил шьют зимнюю одежду. Мы принадлежали только нашему содружеству и костру, мы знали только эти тропы, речки, поля, а ночью с небес нам мигали загадочные звезды, – и этих познаний об устройстве мира было достаточно для счастья.

Потом мы ели печеную картошку и мои два гриба, приготовленные в золе по рецепту полинезийцев: завернутыми в листья смородины. Девчонок покусывали комары, и они переступали с ноги на ногу, как запряженные лошади на солнцепеке.

– У меня там чайник и заварка, – сказал я Бабетте. – Чай не пьешь – какая сила.

– Ладно, – ответила она. – Тогда идем. Только по-быстрому, а то меня дома выберают.

– И водяной из ближайшего плеса, – добавил я, потому что, выклянчив ее согласие, обробел. Что я там буду делать с ней, наедине? Уже не раз, и не только с ней, я попадал в ситуацию выбора: согласие повергало меня в ужас. Согласие свидетельствовало, что я тоже

им нравлюсь и что я такой же, как все. Но похожим на всех я себя как раз и не ощущал; уж лучше страдать и мучиться от своей инаковости, чем столь быстро терять невинность и приобретать всеобщий опыт. И всякий раз волнение подступало с такой силой, что я начинал мямлить и заикаться. Важнее преграды на пути к цели, чем сама цель. Позднее это станут определять как задержку в развитии и умственную отсталость – излюбленный ярлык разных добродетельных матрон от педагогики, который они наклеивают всем детям, которых не понимают. Сложность заключалась в том, что я и не стремился вкушать от запретного плода, познавая на опыте разность полов. Потребность была, ночные отроческие грезы и отроческий грех уже подступали и одолевали, формируя сознание греховности, и, тем не менее, женщины казались мне еще страшнее и недоступнее, чем прыжки с парашютом в стратосфере. Да, я был задержанный, умственно отсталый, уведенный в сторону от прямых путей к цели, но благодаря этому я начинал осознавать свою исключительность, особость, значимость. Взрослые сладость этого греха познали, я не раз просыпался ночами от поскрипывания их кровати, но что-то не похоже, что это занятие их осчастливило. Никакой психоаналитик не убедил бы меня, что в этом есть что-нибудь, кроме пошлости и грязи. Пусть вытесненный беспощадным отцом, пусть закомплексованный, но я предпочитал с утра до вечера пропадать в лесу и на речке, а в свиданиях с Бабеттой не было ни единого греховного помысла: я любил ее, пока мы были друзьями, и пугался, замечая ее уступчивость и женские ожидания. С самого юного возраста социальная жизнь, даже на примере нашей маленькой деревни, казалась мне такой идиотской, такой несчастливой, что от каждого столкновения с ней, от каждого соприкосновения я очищался только в лесу.

Я построил хижину для себя, в изрядном буреломе на берегу речки, куда не полез бы даже грибник или случайный охотник из местных мужиков. Безопасность и недоступность жилища много значили и, как я теперь понимаю, уже самый факт строительства означал, что я никогда не останусь в деревне, довольствуясь крестьянским трудом. Пожалуй, я действительно повел себя как вытесненный, изгнанный из дому, но мысль об окончательном отселении от родителей никогда меня не посещала. Да что говорить: их самих в ту пору я вовсе не воспринимал как отдельных от себя. Я перетащил в шалаш старый закопченный чайник, пару треснувших фарфоровых чашек, можжевельный лук с пятью деревянными стрелами, из которого за все время охотничьих вылазок не застрелил даже дятла, острогу на налима и щук, изготовленную с помощью стальной столовой вилки, старый синий ватник, пачку сигарет «Юрате», топор, котелок, банку рисовой крупы, три коробки спичек и пакетик кориандра, завернутые в целлофан, с мыслью приготовить настоящую уху, приправленную специями, моток телеграфного провода: углы шалаша соединялись так непрочно, что от любого неловкого движения вся конструкция могла развалиться. В день завершения строительства я почувствовал мучительную досаду, свою полную житейскую непригодность и почти месяц туда не заглядывал. В моем возрасте прежде на Руси парни уже обзаводились собственными детьми, скотным двором и земельным наделом, а я еще играл в несовершеннолетние игры, и даже охотно.

Начав гулять с Бабеттой («Сын-то у нас погуливать начал», – сказала мать как-то раз за ужином), я и вовсе забросил шалаш, хотя давно пора было взять оттуда топор, который еще вполне годился в дровяник. И вот теперь я вел туда Бабетту, которая небрежно следовала чуть позади, обмахиваясь березовой веткой от комарья. Вел и не знал, как мне выпутаться из затруднительного положения. Ботинки я клячил полгода, после прогулки впотьмах по ночному лесу их придется выбрасывать.

Спустясь к речке, мы оставили велосипед у тропы, ведущей в поле, и двинулись дальше належке. Было и темно, и страшно, но, чувствуя позади дыхание Бабетты, я не подавал виду, что боюсь. Травы, кусты, деревья – все жило той настороженной ночной жизнью, которая так непонятна живому человеку. Днем и в ясную погоду эти речные извивы и крутые берега, заросшие смешанным лесом, были чудо как живописны, пойменный луг голубел от колокольчиков, но в этот час все дышало покоем неодушевленности и смерти, в каждом попискивании потревоженной полевки чудился львиный рык. Инстинктивно выставив руку, я отводил ветки и подвигался вперед, чутьем определяя направление.

– Ты же говорил, что двести метров, – бормотала Бабетта сзади. – Я, пожалуй, пойду домой...

– Двести и есть, – разозлился я вдруг. – Держись за мой хлястик – не пропадешь.

– Здесь дядя Толя Шевелев косит – его пожни. А на том берегу черники много, говорят...

– А то я не знаю.

– Надо же о чем-то разговаривать. Уже и ребят не слышать, а мы все идем. Медведь нас не задерет?

– Медведь не дурак по ночам шастать. Он и днем-то ничего не видит, потому что близирукий. К нему можно подойти на десять шагов, если против ветра, он и то не учует.

– Вот я и говорю: вдруг он где-нибудь тут под кустом ночует? Утром теленок сюда забредет, а он его хоп! – и съест.

– Не бойся, мы уже у цели. Жаль, фонарик не захватил. Нагнись и лезь сюда, только осторожней. Мы сейчас небольшой костерок запалим.

– Может не надо? Кругом сушняк. Мы же в самый ельник забрались.

– А как ты думаешь чай вскипятить? В горстях, что ли? Мы небольшой соорудим, прямо тут. У меня тут старое кострище, я уже чаевничал один раз.

– Нет, мне тут у тебя все равно не нравится: тесно, темно.

– Я сейчас тебе провод сюда протяну электрический, не угодно ли? Может, еще люстру подвесить?

– Я решила, что после школы пойду работать в магазин, в отдел парфюмерии. Знаешь, как здорово:ходишь туда – и такой запах: мылом, духами! Просто прелесть!

– Дался тебе этот город. По-моему, здесь пахнет не хуже, особенно днем, когда жарко и все разогревается на солнце. От смороды такой запах, что можно в обморок упасть.

– Нет, ты не понимаешь. В городе удобства: ванная, цветы на подоконниках, кисейные занавески. Я у тети Вали видела: у нее, знаешь, какходишь, сразу направо трюмо в полный

рост, а на тумбочке баночек с косметикой полно, в ванной цветной кафель с рисунками, знаешь, как в Китае рисуют, две большие комнаты, пол паркетный, моющиеся обои голубые, – красота! И еще лоджия есть: с восьмого этажа знаешь какой вид – залюбуешься!

– Ну и катись к своей тете Вале, – рассердился я окончательно: спички гасли одна за другой, сухие еловые ветки никак не загорались, а искать впотьмах бересту не хотелось. Казалось, что Бабетта, расписывая прелести городской жизни, издевается надо мной, который, раскорячившись, пытался раздуть слабые искры и запорошил себе лицо пеплом. – Тебе там не жилье – тебе стильные мальчишки больше нравятся...

– Ну и что? Они одеваются лучше деревенских. А у тети Вали сын, Глеб, ему двадцать восемь лет, у него уже машина «жигуль» красного цвета, я каталась...

– «Жигуль»! Сама ты «жигуль»! – рассвирепел я, хотя пламя, наконец, взбежало по веткам и веселый огонек заплясал в кромешной тьме. – Они же все там искусственные, они корову в глаза не видели, они думают, что жерех – это птица. Не вру, мне один городской парень доказывал. Как муравьи, бегают без толку туда-сюда. Я зачем тебя сюда привел?

– Зачем?

– Чтобы ты мне помогала. А ты критику наводишь. Мой шалаш раскритиковала. Нормальный шалаш. Хорошее жилище для охотника. Сбегай лучше на речку за водой.

– Ой, нет, я заблужусь.

– Да тут рядом. Слышно даже, как журчит.

– Нет, я боюсь. Сам сходишь, не маленький.

– А ты маленькая? Всего-то два года разницы.

– Нет, я у костра тебя подожду.

– Ты в сапогах...

– Да нет же, говорю тебе, я заблужусь. И вообще, пора домой...

– Ладно, сиди тут. Но если я ботинки начерпаю, ты будешь виновата.

Мне надо сразу понять, что и я не большой патриот сельского отечества и что ничего у нас не выйдет, но мы творили древнюю мистерию: у огня сидела Ева, Адам шел к реке зачерпнуть воды. Отойдя немного, я обернулся. Огонек в чаще выглядел странно: яркий, живой, перебегающий, он с трудом рассеивал тьму и был похож на болотный. Оставалось опасение, что прошлогодняя хвоя займется. У тебя не бывает, что в присутствии женщины добавляется пара-тройка лишних страхов? У меня почти всегда. Хороших, каменистых приступов к воде не было, но я надеялся как-нибудь изловчиться и зачерпнуть прямо с бережка. Глаза не сразу привыкли к темноте, я расцарапал щеку и, спустившись по косогору, угодил в непросохшую старицу. Теперь остерегаться не имело смысла, в размокших ботинках хлопала вода. Я разулся на берегу, снял носки, закатал штанины и спустился в русло.

Вода была просто ледяная: где-то рядом бил ключ; она таинственно струилась откуда-то из-под провисших корней сосны и, образуя мелкий плес, исчезала в сплошных зарослях ольхи. Поверху пахло подкошенным сеном, когда оно вянет, а возле самой воды – тиной, водорослями, йодом. Так и казалось, что в открытый зев чайника вливается минога: они водились здесь во множестве.

– Сварится, – произнес я вслух, с шумом карабкаюсь на берег. Колотья об иглы и ветки не хотелось, пришлось вновь обуться. Что-то, заслуживающее внимания, следило за мной оттуда, с того берега, из-за сосны, я ощущал это кожей и каждой боязливой жилкой, но не решал себе даже мыслями обращаться туда. Это ночной наблюдатель боялся меня больше, чем я его. Одно воображенье. Волки нападают, только если заснешь у костра, да и то лишь зимой. Бабетта станет насмехаться надо мной, если обнаружит в шалаше лук: надо было, пожалуй, надежнее его спрятать.

Но когда я, наконец, вскарабкался на угор, приветливый огонек в чаще меня не встретил. Только несколько обгорелых палочек, шипя, пускали дым. В надвинувшейся тьме вокруг тоже было что-то непривычное. Лишь подойдя ближе, я понял, в чем дело: шалаш был разрушен. Колья были выдернуты, настил валялся на земле. Бабетты нигде не было видно, но я как-то сразу почувствовал, что ночные звери здесь не при чем. Первой моей мыслью было, что нас выследили ребята, но я потом понял, что все проще: Еве не понравилось ее жилье. Здесь не пахло, как в отделе парфюмерии универсального магазина. Она его разрушила и ушла.

Теперь бы я ее понял, но тогда...

Ты не поверишь, но я заплакал. Я заплакал навзрыд. Это было так, как если бы плюнули в душу. Ведь я был горд и доволен, что привел в свой дом женщину, я готовился исполнить ее прихоти, ублажить ее чрево горячим чаем, а она поступила точь-в-точь как лисица, которой не понравилось логово, выбранное лисом. И как лисица, она его загадила и ушла.

Слизывая слезы, машинально я собрал обугленные ветки и раздул огонек, попытался воткнуть колья в прежние лунки, но руки у меня опустились. Это была одна из тех выжигающих душу обид, которые мне наносили люди, и от которых я излечивался только в лесу и на реке. Но люди напомнили мне, что они способны преследовать одинокого охотника своей ненавистью даже здесь – в лесу и на реке, в его владениях.

Не знаю, сколько времени я там пробыл, на развалинах своей хижины, но движительной мыслью, выведшей из оцепенения, была та, что, в довершении бед, мне придется, вероятно, возвращаться пешком. Я оставил все, как было, даже потрескивавший костерок, и знакомым путем спустился к реке, переправился через нее. Так оно и оказалось: возле тропинки велосипеда не было. Бабетта ушла на войну. Наши женщины годятся для этих целей. Из славянок я и до сих пор не встречал ни одной, которая бы умела быть другом. В твоём доме им нужно одно – власть. Их роль – разрушение и предательство. Их оружие – грубые упреки, насилие и, если оно не действует, – измена. Говорю тебе: я не встречал ни одной, которая бы питала почтение к мужеству. Ни одной, которая бы не преступала черту своих полномочий...

– Но почему она это сделала? – спросил я Венесуэльского.

– Трудно сказать. Но архетип поведения наверняка очень древний. Она-то потом говорила, что обиделась на меня, узнав от подруг, что я называл ее дурочкой и Бабеттой. Но я думаю, ей не понравилась отведенная роль. Она боялась, что, напоив ее чаем, я начну ее обнимать-целовать, а за это как бы недорого заплачено. Ты меня понимаешь? Русские женщины ужасные трусихи. И так же, как и мы, они не соблюдают границ, условий и законов. Но она меня переоценивала: в те годы я был совсем еще мальчик. Мне следовало настоять, чтобы за водой отправилась она. Мужчина не должен бросать слов на ветер. Как важно придерживаться изначальных правил, я понял много позже. Никогда не служи женщине, мой друг. Служить женщине – это фигуральное выражение, которое мы употребляем, чтобы отблагодарить их за служебное рвение. Не слушай, что говорят по этому поводу поэты: редко случается, что у них все в порядке с головой. Что до меня, то с тех пор я никогда не привожу женщин домой. То есть туда, где я привык отдыхать или принимать какие-либо решения...

– Погодите, а Лиза? Консульша, так вы ее называете...

– Мне очень хотелось получить это назначение. А холостяки этим дуракам из тогдашнего министерства иностранных дел казались людьми подозрительными. И я заключил с Лизой фиктивный брак. Сроком на шесть лет. Правда, потом мы его продлевали. Ведь кто-то должен опираться на твою руку на приемах в иностранных посольствах.

– Думаю, что вам пора заглянуть в гинекей, как вы ей обещали.

– Напротив, думаю, что она подождет. А вот тебе, мой друг, не стоит скромничать, раз ты пришел занять денег. Сколько тебе дать?

©, Ивин А. Н., автор, 1982, 2008 г.

Давайте веселиться

Пока он не понял, что это слабость многих, он боролся с ней, убежденный, что она свойственна только ему. Но чем чаще замечал ее у других, тем добродушнее относился к собственной и уже не требовал самосовершенствования.

Вот и сегодня, прежде чем идти на работу, он получил письмо от Напойкина и установил, что Напойкин тоже болен. Лень и тупость, национальные болезни.

«Вчера было воскресенье, – писал он. – Я думал, с утра почитаю адвоката Кони, а после обеда мы с женой начнем оклеивать квартиру. Но продрых я до обеда, поел и вместо того чтобы читать, целый час ковырял в носу. И ведь понимаю, что мне как юристу пригодились бы, а пересилить себя не могу. И вот за этим-то занятием провел целый час, чувствуя глухое, подспудное раздражение, а в голове – звон, точно меня дубинкой оглоушили. Между тем Антонина стала кормить Маринку. Маринке шесть месяцев, покушать она любит, в этом ей не откажешь: увидит бутылку с молоком, затрясется, ногами засучит. Глодает, захлебывается, давится – одно удовольствие смотреть. Я даже подумал, что если людей накормить, они утратят необходимую жизненную энергию и все их творчество сведется к тому, чтобы колупать в носу. Голод – большой стимул к деятельности.

Твоя пассия в больнице: у нее грипп с какими-то осложнениями. Она надеется, что ты сам приедешь в Логатов.

Ну, будь здоров, Трофим. Жму руку. Борис. 28 марта».

Их тройственный союз распался сразу после школы: Баюнов уехал сюда, в Кесну, Напойкин остался в Логатове, закончил юридический институт и женился, а Милена стала работать товароведом. Но иногда они съезжались, встречались на квартире Напойкина (он и Милена жили в одном доме), а потом подвыпивший Напойкин божился, что все равно поженит их.

– Ракальи! – кричал он. – Вам еще пять лет назад надо было обручиться, а вы все канителитесь!

Письмо освежило, взбодрило Баюнова: оно доказывало, что и Напойкин, которому еще в школе пророчили быструю карьеру, подвержен лени. «Хорошо, что я не обзавелся семьей, – подумал Баюнов. – Если семья – значит быт, если быт – значит конец душевной самостоятельности и свободе. Какое уж тут чтение, если жена разводит клейстер. Бедняга! Чтобы не облениться на всем готовеньком и не утратить цель в жизни, следует жить одному».

Болезнь Милены его не встревожила. Просит приехать, значит любит, что и требовалось доказать.

Довольный, что о нем помнят, Баюнов вышел из дому и по пути предавался неопределенно-счастливым воспоминаниям. Хотелось петь или по-детски выкрикивать: ах, какое голубое небо! Ах, какой славный морозец! Какие чудесные сосульки! Энергия, восстановленная сном, подняла его, как морская волна, и он, как пловец, почувствовал вдруг силу своих мышц. От меланхолии не осталось и следа. С карниза приземистого дома, где разме-

щалась автоинспекция, он сбил толстую сосульку, выбрал самый крупный осколок и принялся сосать. Редкие прохожие торопливо и нахмуренно шмыгали по улице, как изыбшие коты. Сперва, несомый приливом бессознательной радости, Баюнов их вовсе не замечал, а потом, когда это радостное чувство перестало удовлетворяться собой, тихонько замурлыкал ариетку, чтобы прохожие думали, что он весельчак, что ему крупно повезло: выиграл в денежную лотерею, полюбил женщину или наелся земляники со сливками – блюда, весной никому из горожан не знакомого. Таким образом все разделяли его радость, ни о чем не спрашивая и не пытаясь ее отравить. Ведь счастье, восторг, любовь и тому подобное, – это такие чувствования, которым никто не соперничает. Напротив, стремятся подгадить, подбросить паука за воротник.

Через два квартала, не растеряв внутреннего одушевления, Баюнов вошел в ателье (он работал фотографом, а вообще ателье было сборное: здесь ремонтировали часы, чинили обувь, паяли кастрюли, а на втором этаже стрекотала швейная мастерская). Поздоровался с заведующей ателье Ниной Васильевной и с длинноногой белокурой закройщицей Анфисой: она улыбнулась ему, сверкнув новеньким золотым зубом.

– Что это ты сегодня такой жизнерадостный? – Нина Васильевна подняла от бумаг грушевидное, как у Людовика XIV, толстое лицо и колыхнула тремя кожными складками на шее, словно манжетным воротником.

– Приятные известия получил, – охотно ответил Баюнов. Он даже подумал, не задержаться ли, чтобы поболтать, но тяжелый, набыченный взгляд Нины Васильевны остановил его: было очевидно, что она спрашивала не для того, чтобы порадоваться вместе с ним, а чтобы навсегда стереть с его лица глупую, неуместную улыбку. Баюнов прошел в свой кабинет, включил лампу, глянул, не раздеваясь, на сохнувшие на гвоздиках фотопленки. Не терпелось, пока еще нет клиентов, проявить две пленки, заснятые на свадьбе, и посмотреть, что получилось: на этих свадебных фотографиях он хотел подработать. Но дверь открылась, и вошла Анфиса. Анфиса, неравнодушная к нему.

– Ну, как ты? – учтиво спросил он.

– Я-то? Ничего... – Она запнулась. – Ты извини, что я вчера... Если бы я знала, что так получится...

Вчера же ничего не происходило. Их платоническое влечение никак не перерастало в половое, и они в очередной раз разбранились.

– Это я виноват. Срываюсь иногда, нервный стал. Знаешь что: приходи в воскресенье. Сфотографироваться хочешь? Прямо сейчас. А то полгорода увековечил, а тебя все не удосуужусь. Садись. Так. Только, ради Бога, в объектив не смотри, куда-нибудь в сторону. Все клиенты в объектив тарашатся, а потом возмущаются, почему у них глаза круглые, почему вид глупый. Ты сегодня превосходно выглядишь. Софи Лорен, да и только.

Анфиса смущенно улыбнулась золотыми фиксами: давно так много в один прием не говорили ей любезностей, не угадывали стольких достоинств, показывать которые она считала зазнайством. Анфиса, провинциальная дурочка, закомплексованная на все сто.

Пока Баюнов повертывал ее так и сяк, добиваясь нужного ракурса, она щебетала о новых чулках, которые недавно купила, об итальянском фильме, который недавно посмотрела. Ну, и о Соньке, разумеется:

– Ты представляешь, Трофим, подцепила какого-то сухопутного морячка, а Валерка, как узнал об этом, прибежал к ней разбираться, что да почему, и вышла у них там заваруха – просто ужас!

Ну, и о часах, конечно, в который раз:

– Уже месяц, как мама отнесла часы Коле, а он, видно, спяну наступил на них, раздавил циферблат, стекло и все колесики погнул. А теперь говорит, что лучше заменить. А маме замена не нужна, ей надо эти самые часы, позолоченные, «Полет».

Ну, и о Нине Васильевне:

– Ты представляешь, эта толстая дура сегодня с утра не в духе, насилиу вырвалась от нее. Требуется, чтобы я и в пятницу работала, вместо Нюрки. У Нюрки ребенок заболел, так она дома сидит. А мне что, больше всех надо, что ли? Я ведь тоже выходного жду незнамо как.

Баюнов не останавливал ее, но и не слушал. Душеизлияния были прерваны приходом Нины Васильевны.

– Что ты здесь делаешь? – спросила она властно. – Пришел заказчик, полчаса тебя ждет, а ты здесь торчишь. Поди сними с него мерку. И запомни: в рабочее время надо работать.

– А я и так работаю, – огрызнулась Анфиса, съезжившись, как собака, на которую замахнулись. Однако, почувствовав, что бессильной репликой не защитила свое достоинство, добавила: – Что вы, Нина Васильевна, все за мной следите? Я, может, в уборную пойду – и вы за мной?

– Ты не в уборной, а здесь лясы точишь. Иди обмеряй заказчика и не смей отвечать мне в таком тоне.

Заштат. Райцентр. У умного человека через неделю пребывания возникает синдром Чацкого: бегу, не оглянусь, пойду искать по свету...

Возмущенная, что ее поносят при Баюнове, Анфиса, как боксер на ринге, раздраженный, что публика аплодирует удачному выпадку противника, готовилась сразу послать Нину Васильевну в нокаут, но желчные слова застряли в горле, как только она помыслила, что из этого выйдет. Бурливая, она гневно хлопнула дверью, так что затрясся фотоаппарат на штативе, и вскоре так дергала и трепала в примерочной своего клиента, толстяка с круглым носом, что тот лишь терпеливо побряхтывал.

– Зря вы, Нина Васильевна, – сказал Баюнов, сглаживая неприятное впечатление. – Она ведь еще ребенок, ветер в голове...

Баюнов как третейский судья, более мудрый, чем оба спорщика, оболгал Анфису и одновременно косвенно польстил Нине Васильевне, ибо если у одной ветер в голове, то предполагается, что вторая благоразумна.

– Ничего, поделом ей! – Нина Васильевна подразумевала в этих трех словах, что она, как разумная руководительница, и сама об этом знала безошибочным чутьем, так что упрек не по адресу, но расшифровывать не захотела. – Я к тебе зашла вот по какому поводу. После-завтра у нас с мужем серебряный юбилей...

– О, поздравляю вас, Нина Васильевна! Так вы уже двадцать пять лет замужем? Кто бы мог подумать!

– Да. Двадцать пять. Так вот, Трофим, я приглашаю тебя, а заодно попрошу сделать несколько памятных фотографий. Ты ведь свободен послезавтра?

– Ну конечно, Нина Васильевна! Я с удовольствием приду и сделаю. И не только фотографии, а и все, о чем вы попросите.

– Приходи часов в семь вечера.

– Непременно.

– Ну, спасибо.

Нина Васильевна ушла довольная. Баюнов, оплатив старой даме за менторский тон чуть заметной иронией панегирика, все же не без самодовольства подумал, что начальство к нему благоволит. Вот только расходов требует. А впрочем, наестся до отвала, напиться наливков – тоже неплохо.

Баюнов, замурлыкав под нос ариетку, хотел было заняться свадебными пленками, но, похоже, проявить их сегодня уже было не суждено, так как дверь открылась и вошел часовщик Коля, неопрятный человек в помятом пиджаке.

– У меня к тебе дельце есть, – сказал он. – Только сперва скажи, что сделаешь.

– Ну, выкладывай. – Баюнов не любил Колю. Но разные нищие и пьяницы к нему почему-то клеились. Похоже, что генетическое: Баюнов-старший был донельзя опустившийся мерзавец, который тем не менее добивался сыновней любви. – Опять небось денег надо?

– Верно! – угодливо воскликнул Коля. – Прямо мысли мои читаешь.

– Сколько? – сурово спросил Баюнов, чтобы приструнить Колю, повластвовать и поторговаться: деньгами он скупился. Подобострастность часовщика ему не понравилась: показным юродством маскировалась наглая ухмылка попрошайки, уверенного, что ему не откажут.

– Да сколько дашь, – смиренничал Коля.

– Два рубля хватит? – пытливо спросил Баюнов, сомневаясь, оценит ли Коля его великодушие.

Коля оценил, тем более что не надеялся ничего получить от этого сквалыги.

– Ну, ты меня спас. Благодетель, отец родной! Спасибо. Отдам с полочки. – Коля вроде бы и искренне благодарил, а все-таки паясничал, унижая благодетеля.

– Ну-ну, – сказал Баюнов великодушно. – Верю, что отдашь.

– Ты-то со мной не выпьешь? – услуживался Коля в избытке благодарности. Он знал, что Баюнов откажется, потому и предложил. И правда, Баюнов не принял жертвы, чтобы не примешивать своекорыстия к прекраснородушной благотворительности:

– Нет, как-нибудь потом...

– Как хочешь, – благодарно засуетился Коля. – Спасибо тебе, братец, вовек не забуду.

– Не за что.

Заштат. Райцентр. Середина семидесятых. Робкая дура-закройщица, которая всерьез считает, что золотой зуб – это красиво, пьющий тщедушный часовщик, толстая заведующая. Вы встречали в райцентрах заведующую хоть чем-нибудь – и не толстую?

Баюнов, как только Коля вышел, опять почувствовал прилив бодрости, волновавшейся в нем с утра. Все сегодня были как-то удивительно добры, ласковы, от него зависимы, прибегали за советом и состраданием, соподчинялись. Влюбчивая Анфиса, любезная Нина Васильевна, кроткий Коля – какой добрый народ, какой деликатный! Трубя ариетку в полный голос, он возбужденно прошелся по кабинету. Хотелось обласкать еще кого-нибудь, чтобы еще раз обрадоваться, удостовериться окончательно, что все его любят и все ему поклоняются. Он решил позвонить Нефедову. Нефедов был сын священника и заканчивал философский факультет университета. Баюнов ревниво дорожил своим другом, хотя тот не потворствовал ему, а скорее третировал; с ним Баюнов связывал свои смутные устремления к духовности.

Когда Нефедов поднял трубку, Баюнов сказал обычным защитным шутивым тоном:

– Добрый день, сын попа. Что делаешь?

– Читаю.

– Не придешь ли ко мне сегодня вечером? Рад был бы тебя видеть. Хочется поговорить.

– О чем?

– Ну, это вопрос не по существу: найдется о чем поговорить. Я сегодня добрый и, может, даже не стану оспаривать твое просвещенное мнение.

– Хорошо, приду.

Хотя ничего знаменательного не было сказано, Баюнов ощутил желанную радость. До обеда у него побывали всего трое клиентов, и все трое ему понравились. Они тарачились в объектив, робели, словно на приеме у короля, суетно и пристрастно охорашивались, чтобы запечатлеться красавцами, и все-таки терялись перед нацеленным фотоаппаратом, как перед дулом пистолета. И если раньше Баюнова сердили их ужимки, их запуганные тщеславные глаза и ложная величавость, то сегодня он расценивал это как робость учеников перед мастером, как потерянность неофитов. Это ему льстило, и он, стремясь припугнуть, без конца пересаживал их, священнодействовал с рефлекторами. Что клиенты раздуваются, как индюки, и вовсе не из благоговения перед его магическим искусством, а из тщеславия, его сегодня только забавляло. Его великодушию не было предела.

Наступило обеденное время. Он как обычно ушел немного раньше, чтобы успеть, отобедав в столовой, заглянуть домой. И вот, когда он отдыхал дома, слушая музыку, разносчик принес телеграмму. Он решительно не знал откуда и поэтому забеспокоился. Телеграмма гласила: «Приезжай немедленно, умерла Милена. Борис». И все. Баюнов прочитал коротенькую строчку второй и третий раз, усиливаясь понять, но все равно сперва подумал, что разносчик напутал. Он постоял, оцепенелый, оглушенный, как бы вне себя, потом сел, но так неудачно, что стул накренился и упал бы, не схватись Баюнов за угол кровати. Это встряхнуло его. Он машинально оделся и вышел, сунув телеграмму в карман. Мысли его приняли странный оборот. Осознав только, что надо ехать, он подумал, идти ли, когда приедет, прямо к Милене, чтобы обрадовать ее своим внезапным появлением, или вначале заглянуть к Напойкину, выпить, потолковать, а уж потом, подшофе, острословом и забиякой, прийти к ней? Он надолго застрял мыслью на этом вопросе, так что наконец даже рассердился: не все ли равно, выпить-то можно и с Миленой! Он повернулся, чтобы сейчас же идти к ней, как вдруг прояснилось, что он не в Логатове, а здесь, а потом – что Милена умерла. Это последнее было непонятно, непредставимо. Воображение упиралось. Разум подтасовывал другое объяснение: Баюнов вспомнил проделки проказливого Напойкина, вспомнил, как тот однажды, привязав к коробке из-под мармелада бикфордов шнур, поджег его и бросил в окно соседям, вспомнил и другие, столь же мрачные его шутки, вспомнил любимые напойкинские, под Пушкина стилизованные, строки: «Что делать, друг, движенья сердце просит, душа коснеет в злобе и тоске...» – и все сразу разъяснилось: он понял, что его разыграли. Ну конечно! Ведь сегодня первое апреля! Как он раньше-то об этом не подумал! Небось Напойкин уже потирает руки и похихикивает! Ну нет, голубчик: ты хитер, а я хитрее. Не на того напал.

Дообеденное приподнятое настроение возвратилось с удесятенной силой. Он попытался вникнуть в хитроумие замысла. Сперва подкинул письмо, мол, она болеет гриппом. Ха-ха, чудак! Кто же нынче от этой инфлюэнцы умирает! Нет, тут он маху дал. Написал бы лучше, что она в автомобильной катастрофе перекувырнулась. А то – грипп! И все-таки ловкач! Я чуть было не попался.

Баюнов ликовал, что он – и пяти минут не прошло! – разгадал сатанинские замыслы и, следовательно, прозорливее Напойкина. Какой миляга, этот Напойкин! Вообще-то его за такие шутки выдрать надо. Окажись я слабонервным, гипертоником – что тогда? Юрист, а законов не знает.

Натешась эффектом своей провидческой интуиции, но ревнуя к замыслу розыгрыша, Баюнов стал думать, как бы в свою очередь разыграть Напойкина. Проекты вертелись раз-

нообразные, но то слишком сложные для исполнения, то чересчур грубые. Ничего не придумав и потускнев, он безотчетно и сумрачно вступил в ателье.

Раздеваясь в кабинете, он вспомнил случай, который утвердил его в мысли, что шутка с телеграммой – инсценировка, а режиссер – даже не Напойкин, а сама Милена. А случай был вот какой. Однажды, приехав в Логатов, он провел полдня у нее, а потом засобирился к родственникам. Милена не пускала: в самом деле, Анастасия Ивановна, мать Милены, обещалась только к завтраму, – почему бы им не повеселиться вдвоем? Однако безапелляционность ее доводов ему не понравилась. Он засобирился решительнее, надел плащ. По правде сказать, он и про родственников-то упомянул только для того, чтобы его смиренно поупрашивали не ездить к ним (такой уж был человек – противоречивый). Но не таким же самоуверенным тоном! Выходит, что он не самостоятелен в решениях? Слава богу, они еще не расписались! Он не позволит помыкать им. Достаточно и того, что он приехал.

Милена сверлила его пронзительным взглядом. Он побаивался даже, не швырнула бы она в него стулом. С нарочитой ленцой он похлопал себя по кармане, не забыл ли кошелек. Медлил. Не уютно было уходить не примирясь, как умирать без отпущения; да и страшновато оставлять ее одну, гневливую, – зарежется еще, лишь бы утвердиться над ним. Он колебался: мало того, что уйти – дерзость, вызов; это ведь все равно что с середины увлекательного фильма уйти, не интересуясь чем кончится. Вразвалку, дразня и провоцируя, он беспечно подошел к Милене и сказал с упоением выдавливающего прыщ: «Ну, я пойду, дорогая...» Почувствовал, что переиграл, добавив «дорогая» и тем самым обнаружив свою агрессивность. Милена вскочила с кровати: раз сверленье взглядом не действует, надо самоутвердиться иначе; она подошла к Баюнову и грубо стащила плащ. Баюнов оттолкнул ее; проснулась садистское желание ее избить. Боялся только, что потом придется ухаживать, – окажется, что она все-таки победила. Но и этого смягченного страхом толчка хватило. Милена пришла в бешенство и, забыв себя, двинулась на него: победить! затоптать! утвердиться! Умереть самой от сердечного приступа, но доказать ему, что он не вправе попирать ее достоинство! На нее было тяжело смотреть. «У собак это проще, – подумал Баюнов, защищая лицо. – Оскал, удар, свалка – и враг, если слабее, убегает». Милена разодрала ему щеку, он в ответ расвирипел, схватил ее, бьющуюся, визгливую, со стоном задыхающуюся, сжал. Подумал отрешенно, тоскливо, бледнее от горького чувства: «Театр, театр! Ведь знает же, что пугает, – зачем же себя-то так изводить? Зачем? Неужто договориться нельзя, чтоб без драки? Чтобы не сразу всего меня присвоить...»

Он тоскливо понял тогда, до чего же они р а з н ы е люди. Еще вырываясь из ненавистных рук, но уже слабея, Милена захлебывалась горячими слезами, а Баюнов, осознав, что теперь уже и это позволительно и нужно, чтобы усладить горькую, смертельную обиду, ласково, как мать – большое дитя, безропотно гладил Милену по голове, еще стыдливо униженную, еще внутренне колючую, но уже самодостаточную, уже согласную поскучать без него, уже примиренную с тем, что он н е м о ж е т любить ее, полностью отождествляясь с ней, что он д р у г о й. Баюнов удваивал ласки, но без сочувствия, без сострадания, по скучной обязанности утешительства: он еще злился, что этой грубой сценой прервали его свободное желание – уйти. «Катарсис начался. Что, если мне это наскучит?. Уже наскучило. Слишком хорошо все понимаю – сразу виден конец. Вот если бы, вместо того чтобы царапаться, отпустила да еще улыбнулась добросердечно, – вот тогда бы я и капитулировал. Мной нельзя управлять, я не чья-либо принадлежность, я свободный человек!..»

Проверяя, как она отзовется, он с усиленной горячностью поцеловал ее. Милена доверчиво прильнула. «Какой я, добрый или злой?» – утомленно подумал он и сгорбился, словно на плечи взгромоздили вселенную. Милена успокаивалась, отмокала, как лес после грозы; просветленная, новая, утихшая, подняв кроткие, в слезах, признательные глаза, она стыдливо сказала: «Иди, милый. Только возвращайся пораньше, ладно?» И странное дело: едва ему позволили осуществить задуманное, оно утратило привлекательность. Уходить не хотелось, он тяготился принесенной жертвой и чувствовал себя усталым и одиноким. Догадываясь, что чувство вины удерживает его, Милена повторила свои слова тверже и спокойнее, чтобы он не расценивал их как самоотречение.

Так они впервые столкнулись с отчуждением и с невозможностью понять и простить друг друга.

Вспомнив эту сцену, этот поединок самолюбий, Баюнов решил, что телеграмма послана Миленой, которая заскучала. Зная, что выманить его не так-то просто, она осмелилась на такую выходку. Но в том-то вся и загвоздка, что Напойкин пишет, будто она больна. Если бы он об этом не написал, не о чем было бы думать. А что, если она и вправду умерла? Да ну, вздор какой! Здоровья у нее хоть отбавляй. Не может этого быть. Откуда, впрочем, такая щенячья уверенность? Все может быть. Вот только не хочется, чтоб было, – это другое дело.

Он сел на стул и задумался. Отсутствуя лицом, не осознавая себя здесь, в этой комнате и на этом стуле, – он жил там, где жили его мысли. Когда они вернулись, он насмешливо подумал, что рожа у него сейчас, должно быть, как у Напойкина, когда тот в носу ковыряет. Черт знает что! Не то живешь, не то умер: тело здесь, а душа там. Раскололись. А когда-то ведь друг в друге обретались. В детстве какую травинку ни увидишь – сразу и душа отзовется, возликует. А сейчас на что ни посмотришь – плюнуть хочется. Обрыдло. Однако что же делать-то? А не поехать ли действительно? Не впервой быть посмешищем. Ну, хорошо: а с другой стороны – Анфиса-то придет в воскресенье; ведь на что-то рассчитывал, когда приглашал. А Нина Васильевна со своим юбилеем? А ну их всех к черту! Что я, не волен поступать, как заблагорассудится? Возьму да и уеду. Да если Милена и впрямь умерла, я больше ничего никому не должен. И так всю жизнь понукали, словно клячу...

В кабинет вошла Нина Васильевна. Ее безбровое лицо с уверенными свинячьими глазами как-то по-особому не приглянулось ему. Он рассердился на себя за то, что рассыпался мелким бесом, расточал комплименты – и кому? – этой бабище, на которую и глядеть-то противно. И вынужден теперь выслушивать ее, вежливо выслушивать и даже, поскольку она начальник и женщина, кивать. Он хмуро уставился на нее, взглядом выталкивая за дверь.

– Мы с тобой не договорились вот о чем... – начала Нина Васильевна.

– Да я еще, может, не приду.

Баюнов любил ошеломлять начальство.

– То есть как? Ты ведь обещал.

– Обстоятельства переменились. Мне надо срочно уехать.

– Куда это тебе понадобилось ехать? – самолюбиво свирепела Нина Васильевна, как бык на красную тряпку. – Ты учти, что завтра рабочий день.

– Работа не волк, в лес не убежит. А я за три дня обернусь, – сказал Баюнов запросто, как о деле уже решенном.

– С чего это ты взял, что я тебя отпущу? – Нина Васильевна гневалась. – С какой стати? У тебя что, мать умерла?

– Не мать, а все-таки близкий человек. – Баюнов натурально дрогнул голосом. Он опаслся, однако, что состраданием эту тушу не проймешь, и добавил: – Родная сестра. Вот телеграмма.

Он протянул телеграмму подчеркнуто равнодушно, но с победоносным чувством шахматиста, делающего противнику мать в два хода.

– Телеграмма не заверена врачом. Очень жаль, но отпустить я тебя не могу. Может быть, это фальшивка.

Этого Баюнов совсем не ожидал. Правда, он побаивался, что обнаружится, что он солгал насчет родной сестры, но удара с этой стороны не предвидел. Потерялся до того, что пробормотал:

– Ну и что? Разве это обязательно?

– Обязательно, – менторски сказала Нина Васильевна, заслышав знакомые робкие интонации подчиненного и потому остывая. – А иначе каждый может послать самому себе телеграмму и прогуливать. Почем я знаю, действительно ли она умерла.

– Да ведь написано же! – вскричал Баюнов.

– Мало ли что написано...

– Да вы вдумайтесь, что вы говорите. Ведь это же издевательство! Я все равно уеду. Поставьте себя на мое место, каково вам было бы? – Баюнов то возмущался, то уговаривал. Не уповая уже на законность, а взывая к человеколюбию, он примиренчески произнес: – Вы должны отпустить меня, Нина Васильевна.

– Поезжай. Но если в управлении спросят, где ты, я скажу, что ты уехал без разрешения.

И Нина Васильевна, насупясь, вышла.

В коридоре послышались громкие голоса, Баюнов выглянул. Нина Васильевна, возвращаясь не в духе, встретила пьяного Колю. Тот еле стоял на ногах, но держался достойно, даже амбициозно.

– А что ты бранишься? – говорил он, деля слова заплетающимся языком. – Что ты... всегда бранишься! Разве я... не человек? Человек! Разве я... кого-нибудь задеваю? Никого

не задеваю. Иду... своей дорогой... к хорошему человеку... И никого не задеваю. Трофим! Ну-ка... иди сюда. Шел, понимаешь, к тебе...

Баюнов захлопнул дверь и хотел запереть изнутри, но передумал, а зря, потому что вскоре, окончательно взбесив Нину Васильевну (она бросилась писать вышестоящему начальству докладную записку), Коля ввалился в кабинет и с торжественной наглостью чистосердечного порыва, косоротясь, громыхнул по столешнице ополовиненной бутылкой.

– Остаток, – пояснил он. – Садись, выпьем за молодежь...

Баюнов очень не любил пьяниц, точнее – того, что они к нему пристают.

– Ты думаешь, я выпью – и тебе платить не придется? Сколько тебе говорить, чтоб ты пьяный сюда не ходил? Добиваешься, чтобы выставил? Забирай свой остаток и уходи. Выпей и проспись в канаве. Небось опять пришел поучать? Все, что ты знаешь, оставь при себе, врачеватель. В тебе только один дух, да и тот водочный. Поднакопил позднего ума: дескать, жить трудно, народ испортился, начальство одичало. Хочешь жить – умей вертеться. Знаю я эту мудрость. Видно, как ты вертишься, чтобы трешник достать. И так, и этак, и хвостом повилиаешь, и душой покривишь. Мудрец! Пропил жизнь-то...

– Да ты что! Я же к тебе сердечно.

Коля протрезвел, обиделся и решительно шагнул к Баюнову, так что тот растерялся, понимая, что наговорил лишнего. Но, уловив, что Коля колеблется, рассвирепел сам. Что они все сегодня – белены объелись? Страна дураков, пьяниц, преступников, дебелих баб! Цепко, по-садистски, вкладывая вольноотпущенный гнев, сцапал Колю и, крича в его круглые красные глаза: – Тебе ничего не остается, кроме как драться! Потому что правда глаза колет! – выволок в коридор, оттолкнул и выдохнул, выплюнул сгусток злобы:

– Катись отсюда! Поди и избежь хоть собаку, потому что больше тебе некого избить!

И захлопнул дверь. И решил: «Если он войдет, я его убью!» И приготовился. Но в коридоре было до странности тихо. «Папочка, грязный алкаш, хорошо бы тебе умереть, чтобы всякие подонки ко мне в друзья не набивались! – горячо взмолился он. – О, господи, да ведь он остаток забыл! – Баюнов сграбастал бутылку, как если бы выметал последний сор из избы, приоткрыл дверь. Коля стоял, прижавшись к стене, и осоловело моргал кроличьими, обиженными глазами. Слезы катились произвольно, он стыдился их, сдерживал, гримасничал. Баюнов молча запихнул бутылку ему в карман и прикрыл дверь. «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина», – вспомнил он вдруг. С минуту ждал. Наконец Коля, отираясь вдоль стен, прошаркал по коридору – словно проволокли мешок. Хлопнула наружная дверь. Стало тихо; только наверху слабо стрекотали швейные машинки.

Понемногу собравшись с мыслями, Баюнов решил взять трехдневный отпуск за свой счет, но не ездить в Логатов, а отсидеться дома, отдохнуть. Придется отменить встречу с Анфисой.

Он застал Анфису в костюмерной. Прильгая для убедительности, описал ситуацию. Анфиса искренне озаботилась его горем. Конечно, не к спеху, можно встретиться в другой раз.

– В следующее воскресенье, – сказал он.

Анфиса согласно кивнула. Ей не терпелось, чтобы он ушел, потому что он видел, как ее унижали. Он неуютно попереминался, закрепощенный ее стоворчивостью, промямлил: «Ну, пока...» – и неохотно вышел, как из клетки на волю.

Положив заявление на стол Нины Васильевны, он отправился побродить. Пока он ссорился со всеми, он не тревожился о телеграмме. И только теперь вспомнил, что так и не решил, ехать или остаться. Нельзя было, не приехав в Логатов, удостовериться, розыгрыш это или та самая правда, которой он так боялся. В закускойной он выпил кофе и, пока пригублял первый глоток, пока внове откусывал зыбучее пирожное, пока оглядывал посетителей, избавлялся от неотвязных мыслей, но как только еще не изведенные вкусовые и зрительные раздражения притуплялись, отринутые мысли вновь захлестывали его, так что он даже забывал отпить из стакана, – и вот уже валом валили сквозь пробитую брешь, заполняли мозг, дрались. Он допивал кофе, дожевывал безвкусное пирожное и выбегал на улицу. Женщины, старики, дети, развозчики на мотороллерах возле ларьков, кариатиды бывшего дворянского особняка, милиционеры, замерзающая вечерняя капель, воробьи, голуби, кошки, авария автофургона на перекрестке – ничто не избавляло от мучительных мыслей. «Поезд идет в семь часов, – высчитывал он. – Сейчас четыре. Туда я приеду в десять. Обрато, если меня обманули, придется ехать ночью. В вагоне, как всегда, вповалку. Не высплюсь. День будет потерян. Хорошо, с другого конца: чем я займусь, если останусь? А не послать ли ответную телеграмму? „Не верю, но выезжаю повидаться“. Дать урок благородства. Но кому телеграфировать, ей или ему? А стоит ли вообще ехать? Вот ведь дурацкий вопрос! Первого апреля никому не верят. Рифма-то ни к черту; надо: первого апреля никому не верят. Болтаюсь, мучаюсь. Надо действовать, чтобы этих поганых мыслей и след простыл. Зря Анфисе-то отказал, опять сглупил! Что соседей взрывал, еще не довод: на трюк с телеграммой он вряд ли бы решился. А почему бы и нет? Другие и похлеще номера откалывают. Ладно, поеду или нет, а на вокзал позвонить надо. Спросить насчет билетов. Ну, раз уж звонишь, ясно, что поедешь: попался на крючок. Ну и попался! Ну и что! Подумаешь, какая обида! Горд чересчур».

Оказалось, что билеты есть. Баюнов успокоился и решил навестить Нефедова. Тот жил в старой части города, в маленьком зеленом доме. В огороде светились на подтаявшем снегу аккуратно побеленные яблони. Нефедов, русоволосый, голубоглазый, лет двадцати пяти, читал книгу на французском языке; рядом лежал толстый словарь. В доме густела тишина и мерно качался маятник в высоких, от пола до потолка, деревянных часах.

– Я решил к тебе сам зайти, – объяснил Баюнов, здороваясь за руку с Нефедовым, который поднялся навстречу. – Сегодня вечером уезжаю.

– Надолго?

– Дня на три. Получил телеграмму. Не знаю, как ее понимать, то ли в шутку, то ли всерьез. – Он протянул телеграмму. – Не забудь, что сегодня первое апреля.

Нефедов внимательно прочитал.

– Тебе надо ехать.

– Ты думаешь, это правда?

– Думаю, что да.

Баюнов озадачился. Он доверял чутью Нефедова и почти убедился теперь, что должен ехать.

– Я и сам это почувствовал. Но меня смущает: ведь первое апреля... Впрочем, конечно, надо ехать. Что ты читаешь? Леви-Брюль, Леви-Стросс. А, опять это первобытное мышление. А словарь зачем?

– Много непонятных слов, – просто ответил Нефедов.

Бронируя иронией свое самолюбивое невежество, раздосадованный, что Нефедов ничуть не рисуется, хотя мог бы, – словом, в привычной роли завистливого, честолюбивого шута, юродствующего перед королем, Баюнов насмешливо продекламировал:

– Он славно пишет, переводит. Он из Германии туманной привез учености плоды. О чем, бишь, пишет автор-то? О сознании? А насчет меня он ничего не говорит? Насчет того, какое у меня сознание, – мифологическое или человеческое? А?

– Человеческое, – покладисто улыбнулся Нефедов.

– Почему?

– Потому что ты боишься аудиенции со смертью. Или унижения – если тебя разыграли.

– Унижение ради хохмы – кому оно по нраву? Они ловкачи, а я, выходит, лопух? Ты бы поехал, зная наперед об этом?

– Поехал бы.

– Ах, ты какой! Не верю я тебе. Книжек начитался: всяких сознаний в тебе много, а своего нет. – Баюнов бесился, общаясь с самоуверенными людьми: ему хотелось растравить, раззадорить их, оскорбить. Он опять начинал одностороннюю ссору, чтобы наотыскивать недостатков в безупречном друге, по-скорпионьи изжалить, нагрубить и сладко обидеться. – А я глуповат, н и в и с и т е т о в не кончал. Где уж нам уж выйти замуж. Я теорий таких не знаю, чтобы благодарить, когда тебя одурачивают. Научи олигофрена, как ему жить.

– Ты сейчас раздражен, Трофим...

– Это и козе понятно!

– Раздражен и поэтому не воспримешь моих слов.

– Ну, дальше!

– Это во-первых. А во-вторых, ведь мои слова субъективны; насколько они справедливы, решать тебе, внутренне. Не обладая объективной истиной, я не могу учить, – могу только высказаться.

– Ну-ну! Кончай предисловие: обезопасился.

– Конечно, унизительно – прослыть посмешищем...

– Открыл Америку!

– Предвидя унижение, трудно на него согласиться добровольно. Я мало посвящен в ваши отношения, но, кажется, ты подозреваешь Милену? Но ведь она, если только она тебя разыграла, стремится и, когда ты приедешь, получит удовольствие – пусть жестокое, пусть за твой счет. Очевидно, надо ей это позволить, потому что это из любви к тебе. По ее мнению, ничего криминального, простая шутка. Высмеянного, она полюбит тебя еще больше; и уж, безусловно, гораздо больше, чем если бы ты, раскусив ее замыслы, разочаровал ее. Это во всяких отношениях так, от межличностных до межгосударственных: надо подыграть ей. А достоинство свое убережешь, если оценишь ее шутку: ведь на это она и рассчитывает.

– Хорош совет: притворись счастливым, хотя внутри кошки скребут! Выходит, сын попа, ты учишь лицемерить. Недаром ты все читаешь отцовский тревник: ударят по щеке, подставь другую, и тому подобная чепуха.

– Напрасно ты так о занятиях отца, Трофим. Я ведь оговаривался, что это очень трудно. Но если ты действительно любишь ее, а не себя, у тебя это получится.

– Значит, если я останусь, я поступлю скверно? А если поеду и унижусь – то благородно?

– Да.

– Ну хорошо. Допустим, что все это так. А вдруг она и в самом деле умерла?

– А ты не бойся. Ты не примеряйся к этому. Ты не думай, что ты смертен.

– А я что, бессмертен, что ли? – Баюнов провоцирующе ухмыльнулся.

– Когда оплакивают покойника, это слезы не о нем, но за его счет, – продолжал Нефедов. – Эти слезы о себе. Ведь приезжающий на похороны живет, движется, его пугает неподвижность тела. Он не примирился с миром, не очистился, не согласился качественно поиному, но, несмотря на это, пытается отождествиться с покойником. И не может. Не может отождествиться так, чтобы не горевать обо всем, что растет, щебечет, дышит. Ему кажется, что это очень страшно – умирать. Но это не страшно, это легко, это только пресуществление. Тело физиологически разлагается, ибо его покинула душа, которая слагала его. Тот же, кто видит бездушное тело, думает, что в нем-то вся и суть. И он страшится своей незащищенности. И напрасно, ибо нет смерти как небытия. Легко ли тебе убеждаться в этом, тебе, который не признает никакого самосознания, кроме человеческого? Поезжай, ты обновишься.

– Пустопорожняя болтовня! Ты дурак, Нефедов. Счастье в том, чтобы побеждать, а не в том, чтобы подставляться под удар.

– Я знаю только, что ничто не исчезает. Если зерно, падши в землю, умрет, то принесет много плода...

– Насчет плода-то – вранье. Наделай детей, если ты не импотент, вот и все, вот и плоды. Тут и души никакой не требуется. Думай, философ. Слабоват объяснять некоторые вещи. Теория, мой друг, и так далее... Я недавно одну женщину встретил, спрашивала о тебе; такой, говорит, славный парень, непьющий, благообразный. Ты, говорит, сведи нас. Вот тебе и возможность наделать плодов, пока ты не умер, окончательно, бесповоротно и смертно. Хочешь познакомиться с ней? Хорошая баба! Хвилософ!

Баюнов насмеялся самодовольно, как атеист, который знает, что все иконы плачут постным маслом. Нефедов смотрел на него терпеливо и ласково, без осуждения. Выпили кофе. И Баюнов простился, примиренный с необходимостью ехать. На обратном пути, переживая свое поведение, он вдруг обиделся чрезмерной покладистостью Нефедова, вспомнил, как тот перед уходом по-отечески похлопал его по плечу. «Сыграл в поддавки, стервец. А я-то обрадовался сдуру! Значит, и тут он сфальшивил. Кругом фальшь. Кругом головной расчет. Лучше бы поссорились».

Он думал мучительно, но мыслями вылетал в космос: раз ничего нельзя понять в силу множественности истин, или наоборот: по тому же самому все можно понять, то нельзя и никого осуждать, а можно только объяснить, почему так, а не иначе. И дальше: раз все можно понять и объяснить, то почему бы не положиться на самосознание каждым человеком дурного и хорошего, на то, что внутри у каждого уже есть закон, который предохраняет от зла? Тут Баюнов вспомнил часовщика, и ему захотелось выпить с ним мировую. Опустясь от общих, изматывающих душу мыслей-перевертышей к обыденности, он опять вспомнил о телеграмме. Следовало поторопиться: до отхода поезда оставалось полчаса, а у него еще не было билета. Им овладело нервное беспокойство. Он поминутно прищипывал себя, озирался, нет ли поблизости такси, смотрел на часы, надавал трусцой. Время от времени насмешливо осаживал себя: «Нервы-то, вишь, худые: если бы сейчас кто-нибудь стал меня удерживать, я бы ему морду раскровянил. Вот для таких-то психов и нужны законы».

Показался вокзал. Баюнов перевел дух.

У билетной кассы понуро стояли трое. Баюнов нетерпеливо пристроился сзади. «Не мычит, не телится!» – осудил он кассиршу, которая не спеша выстригала, компостировала и подписывала билет для старухи с вещевым мешком на худенькой спине.

– В Логатов один билет, – сказал он.

– Все проданы, – безучастно ответила кассирша.

– Да вы что! Я недавно звонил, были.

– Были, а теперь проданы.

– Найдите хоть один. Я по телеграмме. Сестра умерла...

– Что же вы не сказали об этом, когда звонили? Я оставила бы. А теперь ничем не могу помочь...

Кассирша бесстрастно отвернулась. Баюнов почувствовал бессильную скандальную злобу:

– Вечный запор в этой стране дураков. Чертовы железнодорожники! Напихают людей, как селедок в бочку.

Его неожиданно поддержал плешивый старик с нашивками за ранение на обтрепанном кителе.

– Верно, парень, – сказал он. – Я тут загораю вторые сутки. И не только я. И это в апреле-то месяце! Что же будет летом? Столпотворение!

В разговор ввязались еще двое. Баюнов отошел.

Вскоре, неотвратно посвистывая, подошел поезд. Махая телеграммой и пятирублевой кредиткой перед носом толстой сановной проводницы, Баюнов сгоряча думал, как это нелепо, вся эта борьба за существование на каждом шагу. Чего уж проще – сел да поехал, и то приходится воевать! Бурная жестикуляция и отчаянные гримасы тронули проводницу, и она впустила его. В вагоне воняло портянками. Все места были заняты. Баюнов, умягченный, впервые после стольких тревог расслабленный, прикорнул к окну в тамбуре, но вскоре продрог и вернулся в сонную духоту вагона. Удалось присоседиться к молоденькому лейтенанту. В купе, кроме них, сидели старуха с чемоданом, перевязанным ремнями, презентабельный командированный мужик и молодожены, которые вполголоса рассказывали друг другу таинственные истории. Он сперва прислушивался, а потом, сморенный духотой, незаметно задремал под стук колес.

И снится ему полдневный жар, пустыня. Хочется пить. Он идет, волоча ноги, вязнущие в песке, а впереди назойливо, маняще блестит на солнце озерцо, маленькое, с ладонь; и тянет оттуда ласковой влажностью. Он думает: сон это или явь? И подходит ближе. И вот когда, чтобы напиться, ему нужно только шаг ступить, вырастают на пути, словно из земли, какие-то люди. Вглядывается он и узнает среди них и Нефедова, и Напойкина, и Анфису, и Нину Васильевну, и Колю; перегородили дорогу, толпятся враждебно. Тоска сдавливая горло. Все кричат, все чего-то требуют от него. Одна только Милена молчит, но и она среди них. «Чего вам надо?» – спрашивает он с содроганием. «Мы хотим пить, нас мучает жажда!» – кричат они. И думает он: они слепые; если я укажу им озеро, они вычерпают его и мне не оставят. И он хочет обойти их, но они его не пускают. «Разве я мешаю вам?» – спрашивает он. «Где-то здесь вода! – вопят они. – Оглянись, нет ли ее там, откуда ты пришел!» Он смотрит назад, но ничего не видит, кроме песков, уводящих в горизонт. «Сзади пустыня, – отвечает он в нетерпении. – Идите туда и не мешайте мне.» – «Мы выпьем твоей крови. А иначе умрем от жажды», – отвечают они. «А разве я пил вашу кровь?» – спрашивает он и озирается. И видит рассеянные на песке черные трупы; черные трупы на желтом песке. И понимает, что это он их умертвил. И страшно ему их возмездия. И он думает: дам им немного крови, они уйдут в пустыню и там умрут, а я напьюсь и силы ко мне возвратятся. Они приближаются и пьют по очереди его кровь из левого сосца, как молоко. И уходят по одиночке. Он чувствует, как кружится голова и слабеет тело, и падает на колени. Последней подходит

Милена и улыбается загадочно. И он думает: если и она выпьет моей крови, я умру; а она меня любит; попрошу ее, чтобы ушла и пощадила меня. И вот он говорит, страдая от слабости и уверенный, что ему не откажут: «Я ослабел телом и не могу напоить тебя». Но Милена молча наклоняется и пьет из сосца и уходит, загадочно улыбаясь. А он думает: и все-таки я их обманул, ибо вода – вот она! Но, подняв мутнеющие глаза, он видит, что озеро исчезло и нет ничего, кроме желтых барханов, до самого горизонта. И отчаяние его так велико, а смерть так близка, что он испускает крик...

И просыпается.

– Ну, а дальше? – дремотно спросила невеста. Вагон посапывал и скрипел.

– А дальше очень просто, – глухо ответил жених. – Он вычерпал это озерцо, поймал пескаря, съел его живьем и пополз дальше. А когда дополз до берега, его подобрали моряки: как раз в это время какое-то судно отшвартовывалось. Накормили, напоили, вылечили.

– Я тоже читала про одного. Его за борт смыло, на плоту спасался. Ему потом стало мерещиться, что он не один, а с товарищем.

Молодожены замолчали. За окнами замелькали пристанционные огни, потянулись постройки.

– Логатов. Стоянка пять минут, – громко объявила проводница, проходя по вагону.

«Уж не болен ли я? – подумал Баюнов, сойдя на перрон. – Кровожадные сны, усталость... Господи, как хочется от всего сразу избавиться, взлететь, воспарить! Горемычная пташка в клетке, канареечка желтобрюхая. Куда ни вспорхнет, всюду прутья железные. Кормят до отвала и заставляют петь. Неужели нельзя разом ото всего освободиться и, счастливому, пойти по земле? Ведь до чего же надо потускнеть, как извратиться, чтобы думать, что возня с негативами – жизненное предназначение! Как бы ни были прекрасны мучные узоры на мельничных стенах, не осточертеет ли лошади вертеть жернов? Сколько изысканных сравнений, а все равно будешь вертеть жернов. На роду написано. А разве не в моих руках – написать все на своем роду? Но можно ли возвыситься, не унижая других? В том-то и дело, что ты бесхарактерный, мягонький, как воробушек. Податливенький. Что, скажешь – неправда? Ведь приехал же, чтобы распотешить их. А они меня за это возлюбят, как самих себя. Как бы не так. Любят тех, перед кем преклоняются, кому завидуют, кого идеализируют, а на таких, как я, безропотных осликах возмещают убыток, перед такими превосходственно кривляются. Знаю я этих проповедников! Проповедовал один: у него героиня нищего в язвах и в рубище на паперти целует, христосуется с ним да спрашивает, так ли, мол, я делаю. Так, милая, так! Весело тебе, молодой да здоровой, кобениться перед калеккой, а ведь стремишься-то ты не нищенкой стать, а императрицей или хоть добропорядочной женой. Каково нищему понимать это? Да я бы на его месте плюнул в твою смазливую рожицу. Хорошенькая проповедь! Если этой проповеди последовать, начнем вымирать пачками и рассыпью. Учась на философском факультете и готовясь в аспирантуру, проще пареной репы проповедовать такое. Действие! Столкновение! И никогда не уступай, если хочешь крылышки-то свои канареечные расправить. А нравственные нормы? Попробуй не согреши, если жить хочется. Чтобы нива-то жизни не заглохла, надо ведь возделывать ее собственным трудом и унавоживать собственным телом. Любопытно, как я себя поведу, если она умерла? А вот и посмотрим, прав ли этот всезнайка. Небось он, отче святой, почивает теперь, а я,

может, ко гробу приближаюсь. Сразу уж и гроб вообразил, шустрый какой. Ни разу не был на похоронах. Если она не умерла, ты, пожалуй, еще и разочаруешься. Монстр. Да и мысли-то уродливые: сказать благонавному человеку – не поверит. Развелось стыдливых святош – вопиют: полюбите нас беленькими! Кажется, надо будет поцеловать ее в лоб, я ей все-таки не чужой...»

Баюнов безотчетно вошел в телефонную будку, чтобы только затвориться от изнурительных мыслей, подгоняющих шаг. Снять трубку долго не решался. Длинные чуждые гудки привели его в замешательство: они, как будильник спросонья, безучастно требовали обновить их. А что, если она умерла? Ну, умерла так умерла! Обманула так обманула!

Ответила Антонина, жена Напойкина.

– Ой! – смешалась она, когда он назвался. – Ты уже приехал? – Голос ее странно дрогнул. – А тебя ждали только завтра. Бори дома нет: он... т а м... Кто бы мог подумать. Трофим, что такое случится. Да, горе-то какое... – Она всхлинула, как хохотнула. – Ты откуда звонишь-то? С вокзала? Ну, приезжай скорей...

На языке Баюнова уже вертелся кощунственный вопрос, не разыгрывают ли они его, но Антонина неожиданно повесила трубку. Некоторое время он озадаченно топтался в телефонной будке. Уйти, уехать, переменить местожительство. Зря он позвонил: теперь волея-неволей придется встречаться. А не вернуться ли? Похоронят и без него. Такие вот дела. И все-таки лучше перестраховаться.

Он порылся в кошельке, нащупал двухкопеечную монету. На том конце провода долго, мучительно долго не отвечали, наконец, сняли трубку.

– Не могу я, Боря! Некогда мне сейчас! Что ты, в самом деле, пристал со своими дурацкими предложениями! – Милена уже подносила трубку, но еще не настроилась слушать. Баюнов живо представил столь знакомую, обычную перебранку Напойкина с Миленой: они вечно пикировались. Ему стало нехорошо. Обманули дурака на четыре кулака. Детская считалка. Это было все же столь неожиданно, что он забыл коронную оглушительную фразу (свой желчный контрудар), заготовленную на случай, если его обманули, совершенно забыл. А ведь сейчас его спросят, кто звонит. И пока лихорадочно пустовал без этой фразы, Милена действительно спросила:

– Алло! Кто говорит?

Дежурные слова, требующие немедленного отзыва. Повесить трубку? Изменить голос?

– Это я.

– А, это ты, коротыш! Привет! Что это ты хрипишь? Пьян, что ли?

– Нет.

– Сомневаюсь. Ну вот что: завтра я не приду. А может, и вообще не приду. Если обиделся, поди добавь в ресторане. Ну, что молчишь?

– Почему?

– Скажу, так ведь обидишься. Хороший ты парень, да тупой, как чурбан. Ведешь себя непотребно, напиваешься в обществе дамы... Боря, открой: кто-то звонит... Алло! Коротышка! Слушай, что я тебе скажу. Чересчур много в тебе фанаберии. Одно из двух: или ты уважаешь меня и обходишься со мной по-людски, или пошел к черту. Уж не думаешь ли ты, что ты у меня единственный? У меня их, этих хахалей, десять штук, десятеро, понял? Ты самый маленький. Ешь витамины. И не вздумай приходить завтра, слышишь?.. Привет, Тоня. Да ты что?! Серьезно? Уже приехал? А ты что? Так и сказала? Господи, а у нас еще ничего не готово... Ох, постой, сейчас я... Алло! Ты еще здесь, коротыш? Слушай, давай договорим в другой раз, а? Мне сейчас некогда. Позвони завтра вечером. Лады? Ну, будь.

Баюнов, ошеломленный, растерянный, ловил короткие гудки. Дело принимало оборот, которого он не предвидел.

«Что скажешь? – обратился он к себе. – Жива! Даже чересчур жива. Узнаю коней ретивых по их выжженным таврам. Какова стервочка, а? Грипп под названием „коротыш“. Напойкин в роли осведомителя. А ты, разумеется, забыл, что у самого рыльце в пушку, и обиделся. Она только того и ждет: раз обиделся, возревновал, значит, сам влюблен по уши. А что, если... Мысль-то какая! Обрадовался, идиот, а мысль-то старая; о том же и Нефедов толковал: поступать не так, как ждут. А наоборот. Ведь этак можно любого сбить с панталыку. Ведь вот по обыкновенной-то, по простейшей логике ты должен обидеться (и обиделся уже – нутро-то скребет!); должен попрекать ее, вывести, что это за тип, сцену закатить из ревности. А дальше что? Драться с ним? Да это простая сучья свадьба: сцепились кобеля, шерсть дыбом. Надо быть совсем тупицей, чтобы думать, что если я его отделаю, я ее отвоюю; это значит и ее принимать за красотку из боевика, в котором герой всех врагов убивает и женится: хеппи-энд, публика аплодирует и, ошастливленная, покидает зал. А может, ты трусишь, лазейку ищешь, чтобы оправдаться? Возможно, и так. Да так оно и есть. Ну и что же, сразу и бороться со своим недостатком? Что в тебе есть, то есть, а чего нет, того нет. Труслив, зато неглуп. А впрочем, даже и не труслив, даже не того боишься, что он тебя ножиком пырнет. А просто их связь твоей гордости не задевает. Значит, и не любишь ее. Ну, так уж сразу и значит. Ничего не значит. Идешь не потому, что любишь или не любишь, а любопытно, как а к они станут меня разыгрывать, как я их срежу и как Милена заюлит, когда я ее уличу, что она изменяла мне (или хотела изменить, что одно и то же); вот что тебя влечет. Зуд, зуд. Твоя жизнь была бы скучна, если бы не была театрализована, все равно – внешне или внутренне. Вот чертова привычка – не додумывать: ведь упустил же мысль, что должен поступать шиворот-навыворот, не поразмыслил обстоятельнее, не прикинул вариантов. Как думаешь – отрывисто, так и делаешь – спустя рукава, наспех, в десяти местах, нигде не доделывая; это тоже порок... Ну вот, опять, опять повело... Да остановись ты на этой мысли, обмозгуй ее хорошенько. Допустим, тыходишь – она и Напойкин сидят. Что сделаешь? Скажешь: „Я преклоняюсь перед вашей изобретательностью“? Все испортишь, все „удовольствие“. Ах, да что тут думать, обстоятельства подскажут! Конечно, твое быстрое воображение все разрисует, но все исказит. Уже сколько раз обманывался. По лотерейному билету выиграл один рубль, а пока шел до кассы, вообразил, что „жигули“; какво потом возвращаться? Так что лучше не забегать вперед. Так-то оно так, а ведь расстервенюсь, если начнут потешаться. Дурак этот Нефедов: да они удивятся, и только, если я стану им подхихивать. Им нужно, чтобы у меня челюсть отвалилась от изумления. Надо попрактиковать отвалившуюся-то челюсть: зеркальце, кажется, в кармане...»

Баюнов вынул зеркальце; он забыл, что напал на услужливое воображение, он уже разыгрывал будущую сцену в лицах. Под фонарем он остановился и, таращась в зеркальце, отвалил челюсть. Лицо было глупое, но не смешное.

Площадь перед домом, где жили Милена и Напойкин, залитая призрачным, вперемешку лунным и электрическим светом, была в этот поздний час пустынна; только по окаймлявшим ее бульварам еще торопились бесприютные прохожие. Баюнов заметил в окне, на шестом этаже, в третьем справа, чью-то фигуру. «Напойкин, – подумал он. – Высмотрел! Эх, не догадался обойти с фланга!» Фигура в окне отшатнулась и скрылась. Заманивают, как глупую утку. До чего же нелепа вся эта инсценировка, а нелепее всего, что я-то в ней играю роль шута. Поверил этому чокнутому: жену отдай дяде, а сам пооди к бляди. Баюнов остановился в подъезде, чтобы основательно подумать, что ему делать. Все в нем восставало против предстоящего увеселения за его счет. «Чего ради? Я проявил не меньше, чем они, ума и изобретательности, чтобы не попасться в ловушку. Зачем же мне притворяться простачком? Зачем он им нужен, весь этот балаган? От скуки, от неуважения ко мне? Настырная она, вот что, самолюбивая, как кошка, а у меня не хватает характера противостоять ее настырности. Кто кого переиграет, кто кого сильнее унизит – вот и вся суть нашей так называемой любви. При ее-то своенравии она, пожалуй, еще накостыляет и выгонит меня: „Эгоист! – скажет. – Чванливый гусь!“ Не хочу быть гусем. Как бы так сделать, чтобы и волки сыты, и овцы целы? Ну, допустим, понимаю я ее. Понимаю! Ей с ее-то темпераментом и дня не прожить, чтобы не напраказничать. А старух-то как она эпатирует! Это ведь все от беспокойства ума, от того, что хомута боится; подавай чистое поле... Ну вот, опять растекся мыслию... Идти надо, делать нечего. Пусть смеются, черт с ними, пусть смеются! А не ответить ли ей хорошую оплеуху?»

На лестничной площадке он остановился. За дверью было очень тихо. Не спят ли? Может быть, он посмотрел не в то окно? Что-то уж слишком тихо...

Он позвонил; его мысли вдруг улетучились; он теперь совсем не знал, как поведет себя.

Дверь открыл Напойкин.

– Наконец-то! – Он серьезно и испытующе поглядел в глаза Баюнову и твердо, призывая мужаться, пожал ему руку.

«Комедь ломает! – вдруг разозлился Баюнов. – Что еще задумал? Ищет человека глупее себя. Актеришка! Все знаю!»

– Перестань ломаться! – сказал Баюнов нарочито громко, бесцеремонно, чтобы его услышали и в квартире. – Я все знаю. Первое апреля...

Напойкин удивленно, осуждающе посмотрел на него, как здоровый на непристойную выходку сумасшедшего.

Опережая сострадательный шаг Напойкина, он прошел в комнату – и остановился, пораженный. Первое, что ему бросилось в глаза, была Антонина; она лежала поперек дивана, уткнувшись лицом, с черной креповой повязкой на голове, в надломленной позе. Неистово раскаиваясь: «Что я такое кричал-то? Боже мой!» – он увидел на кровати белый

длинный сверток – Милену. Ее тело было завернуто в свежую простыню, словно упаковано в нее, ровно и бережно; голова ее лежала на подушке; руки были скрещены на животе, а на груди, на блюде, горела свеча. «Свеча-то зачем? Не может быть! По телефону разговаривала... Не галлюцинации же у меня в самом деле». Баюнов беспомощно обернулся к Напойкину за ответом. Лицо Напойкина как будто дрогнуло, как будто губы хотели расползаться в улыбке, но потом уныло и кротко отвердели. Баюнов мельком, боязливо оглянулся на Антонину, когда оттуда донеслось какое-то приглушенное клохтанье; все тело ее сотрясалось в странном, беззвучном плаче... Он поймал себя на том, что боится взглянуть на Милену. Ее лицо было неестественно напряжено, живое, ресницы дрожали. Едва он подумал про ресницы, едва начал увязывать в свою догадку эти ресницы, улыбку Напойкина и клохтание Антонины, едва он открыл рот, чтобы заявить, что это становится неприлично, и все-таки еще суеверно побаиваясь кощунствовать, – в этот самый момент Милена не выдержала, прыснула, так что Баюнов почувствовал на лице изморось долежавшей мокроты, свечка потухла, сзади заскулил с подвыванием Напойкин и покатился по полу, на диване уже явственно заклохтала Антонина, из-под стола вышла кошка, словно тоже до поры до времени притворявшаяся, и, облизав лапу, принялась умываться. Антонина, которая уже сидела на диване, увидела ее и, указывая пальцем, задушенная хохотом, насилу выговаривая: «Гостя, гостя намывает...» – снова повалилась на диван; Напойкин засипел, как проколотый шар; Милена, пытаясь что-то выговорить, что-то еще добавить по поводу кошки, что-то уж невыносимо смешное, хохотала словно сумасшедшая, колотя руками по подушке, а Баюнов, в котором бурлили гнев, растерянность, стыд, вдруг, наперекор всем этим чувствам, вспомнив себя, робко подходящего к кровати и озирающегося, вообразив свое лицо в ту минуту, тоже засмеялся, но, хихикнув, вместо очищения внезапно ощутил бешеную беспомощную злобу («Как они смеют! Кто я для них!») и презрение к себе за этот гаденький, услужливый смешок, подумал, что если хоть на секунду задержится здесь, то осквернится на всю жизнь, стремительно повернулся и выбежал, перешагнув через Напойкина, причем ему так сладострастно захотелось пнуть его, что он уже и ногу занес, но понял, что если пнет, то мгновенно расвирепееет и начнет драку, а это настолько мешало его непреодолимому стремлению уйти, убежать, уехать, улететь на другой конец земли, это настолько задерживало его, что он переставил ногу и выбежал, но в прихожей, истязаясь смолкающим за спиной смехом, как назло, провозился с дверью, забыв, в какую сторону она открывается, задохнулся от бешенства и, не чуя ног, скатился по лестнице. Его душа разливалась впереди тела, как лавовый поток, разбрызгивалась, как бенгальский огонь.

©, Алексей ИВИН, автор, 1981, 2008 г.

Плеть и обух

Это было неотвязное воспоминание. Особенно часто оно стало беспокоить Шаутина, когда Евланов снова появился в городе. Они встретились на базаре. Шаутин покупал помидоры и вдруг увидел Евланова в уличной компании: тот вышагивал самодовольно, важно, с тем сознанием превосходства, перед которым Шаутин спасовал и тогда, в поезде. Дескать, попробуйте-ка не посторониться, когда я иду! В бараний рог сверну!

Шаутин выждал, когда компания удалится; ему стало зябко и захотелось понадежнее схорониться, уехать, чтобы никогда больше не видеть это самоуверенное скуластое чистое лицо с холодным блеском волчьих глаз, не вспоминать прошлое, обжигаясь горячим стыдом. Но когда он вернулся домой, страх исчез и мысли изменились. В самом деле, глупо так пугаться: Евланов наверняка не узнает его, а если все-таки узнает, то что из того? В чем ему перед ним оправдываться? Он постороннее лицо, свидетель, только и всего.

Чтобы доказать себе, что никого не боится, Шаутин оделся и вышел. Смелость его простерлась до того, что, неукротимо бешеный, как бык на корриде, он взалкал новой встречи с Евлановым, с иным исходом. «Подойду, – думал он, – и, ни слова не говоря, дам ему в рожу! Нет, лучше скажу: «Помнишь того мужика в поезде? Зачем ты к нему приставал? Вот тебе за него!»

Но воображенная месть не удовлетворила его; вскоре он еще ожесточеннее, чем прежде, думал, что он трус, трус, и всегда был трусом, и навеки им останется, и словно для того, чтобы полнее удостовериться в этом, опять вспомнил все происшедшее тогда...

Поезд уже подходил к Логатову. Шаутин оделся и кое-как пробрался в тамбур через два купе, где картежничали и пили пиво лесозаготовители, перед которыми он почему-то стусевывался и робел. В тамбуре он и увидел Гошку Евланова, известного в Логатове предводителя и коновода молодежи призывного возраста. Евланову было лет восемнадцать, не больше. Верткий, стройный до хрупкости, в рубашке с закатанными рукавами, серый щетинистый ежик на голове. Евланов наседали на какого-то толстого мужика, брал его за грудки, распалаясь собственным визгливым криком, и порывался ударить. Мужик был какой-то замурзанный; на его лице, которое он вяло закрывал толстой бабьей рукой, застыло беззащитное недоумение: видно, он не знал, зачем к нему пристаю. Тогда Шаутин еще не знал, что перед ним Евланов; он узнал об этом позже, когда на логатовском вокзале составляли протокол, Шаутина допрашивали как свидетеля, а Евланов сидел в комнате милиции в специальной пристройке за высоким барьером и бранился оттуда на чем свет стоит. Поэтому-то Шаутин и подумал сначала, что Евланов из бригады лесорубов и что, если он вступится, ввяжется в драку, они набросятся на него всей бригадой; было похоже на то, что они просто сводят между собой счеты. Откуда ему было знать, из-за чего они дерутся, кто из них прав, а кто виноват.

Евланов с появлением Шаутина умерил свои наскоки, даже как будто собрался уходить, но, сообразив, что ему не станут препятствовать, вдруг наотмашь ударил мужика и, сатанея от слабого ответного надсадного стога, от крови, брызнувшей из ноздрей, припрыгивая в тесном тамбуре, взвизгнул:

– Моего друга Мишку помнишь? В прошлом году, помнишь, гад такой? Часы помнишь, падла, золотые? Вот тебе за часы! Вот тебе! На! Сука! Убью гада! Снова сяду, а живым не выпущу...

Он ударил во второй, в третий раз, разжигаясь и подбадривая себя. Мужик мигал и размазывал кровь; он не сопротивлялся, а только закрывал лицо и отворачивал голову, подобострастно, смиренно, чтобы покорностью, с которой он, осоловело мигая подбитыми глазами, переносил удары, умиротворить Евланова, таскавшего его как большое соломенное чучело; он даже не взглянул на Шаутина, чтобы не обязывать его заступаться. Тем не менее, Шаутин пробовал вмешаться, схватил Евланова за руку, но тотчас отпустил: а может, не надо? Ведь так не бьют на за что ни про что. Может, и впрямь за друга? Непререкаемость действий сбивала с толку: Евланова, похоже, не заботило, что Шаутин здесь и все видит. И все же Шаутин чувствовал, что что-то тут не так. Он снова схватил Евланова за плечо, сказал как можно тверже, с угрозой в голосе: «Уймись!» – но тот лишь оглянулся оловянными кровавыми глазами – и Шаутин, опять засомневшись, отпустил его. С тоской, стыдом и беспокойством. Да ну вас всех! Сам черт не разберет, чего вы не поделили!

В это время в тамбур вошел мужчина в очках и в шляпе. По-заячьи робко, украдкой он посмотрел на Шаутина; тот, чтобы оправдать свое невмешательство, подчеркнуто невозмутимо курил; и тогда новый очевидец так же, как Шаутин несколько минут назад, остался и с тем же напускным безразличием стал закуривать, показывая, что только за тем и вышел. Положение становилось совсем непристойным: двое смотрели, как бьют третьего. Шаутин поерывал; он бы ушел, если бы не чувствовал, что ему все-таки следует остановить драку. Он томился в бессилии. А Евланов распялялся и зверел; так зверел, что даже если бы действительно существовали золотые часы и Мишка, пострадавший от этого жалкого мешковатого мужика, то и тогда кара не соответствовала бы проступку. Самое же унижительное заключалось в том, что Шаутин знал, что нет никакого друга Мишки и никаких часов, а все это придумано, чтобы сбить с толку, нейтрализовать, предотвратить его заступничество. Начинал понимать это и очкастый в шляпе; и едва Шаутин по его глазам определил, что он это понимает, им обоим стало так невыносимо стыдно, так гадко и противно, что они – сперва Шаутин, а потом и очкастый, – дернулись к Евланову, который, хотя и вошел в раж, почувствовал угрозу с тыла и, держа мужика за грудки, втокнул в туалет, надеясь, пока его не схватили, закрыться изнутри и продолжать избиение; он только предупреждающе оскалился. Мужик тоже угадал их намерение и оттого словно проснулся, заартачился, озлился, щерясь щербатым окровавленным ртом. И в это время драка, наконец, привлекла внимание бригады, кто-то выглянул и сипло крикнул: «Эй, Егора бьют!» – и в тамбур повалили фуфайки и лица, разгоряченные пивом, Шаутина прижали к огнетушителю, а шляпа очкастого, затертого людским напором, накренилась и очки свалились с перепуганного носа. «Я так и знал!» – затравленно подумал Шаутин, соотнеся вторжение лесорубов со своим заступничеством. Впрочем, он тотчас понял, что ошибся, что как раз наоборот – его и очкастого принимают за сообщником Евланова, стоявших на стреме. Страх, стремление оправдаться, инстинкт самосохранения – все это придало его действиям такую решимость, а его словам о невинности – такую убедительность, что окружившая его негодующая толпа засомневалась. Пользуясь этим, отчаянно защищаясь, оставляя пуговицы, он стал продираться в глубь вагона, туда, где сидели опасно и любопытно выглядывавшие пассажиры. Но весь проход был забит рабочими, и, пока он продирался, каждый норовил ударить его, так что под конец он тоже рассвирепел и, выпростав притиснутую руку, чувствительно заехал в ухо особенно наседавшему рыжему. Было стыдно и горько. Впоследствии, все это время, он мучился угрюмым стыдом, вспоминая, как продирался сквозь толпу бушевавших лесору-

бов, продирался, скуля и оправдываясь: «Я не виноват! Дурачье, разберитесь сначала!» – продирался всеми правдами и неправдами; как, прогнанный сквозь этот позорный строй, оскверненный оплеухами, вылез из пиджака, чтобы освободиться от державших его рук, и, в разодранной рубашке, шатаясь, чтобы пассажиры ему посочувствовали, униженно побрел по проходу; и особенно мучительно было вспоминать потом свои громкие слова, сказанные сквозь слезы, в бешенстве бессилия обращенные ко всему вагону: «Что вы сидите! Помогите! Не видите, что ли!» Эти слова венчали дело; это был последний ошметок грязи, которым он себя залепил, ибо эти слова были полны уничтожающей двусмысленности. Кому помочь? Тебе? За что? За то, что ты смотрел, как избивают неповинного человека? В чем помочь? Помочь удрать? Может, тебе пиджак принести, который ты бросил, спасая шкуру?

Через несколько минут поезд прибыл в Логатов. Изрядно побитого Евланова сдали в милицию. Шаутин рассказал, как было дело, и, не дожидаясь, когда допросят Егора, ушел. Но и один, посреди ночных тревожных улиц, он чувствовал, что поступил подло. Когда подъезжали, уже готовый к выходу, он столкнулся в тамбуре с Егором. Тот стоял возле зарешеченного окна и утирался носовым платком, предупредительно покинутый всеми; при появлении Шаутина съежился, полез за папироской. Шаутин, увидев его, вновь замкнулся лицом; разговаривать было не о чем, обоим было неловко. Закуривая, Егор вдруг спросил:

– Ты куда едешь-то?

– В Логатов, – ответил Шаутин.

– Спасибо за выручку.

Шаутин взглянул на него подозрительно, не издевается ли, и произнес:

– Какая, к черту, выручка!

«Как тебя выручать, – подумал он со злостью, – если ты перед ним навтыяжку стоял, словно так и надо...»

Такое вот неприятное происшествие – драка в поезде.

Такое Шаутин продемонстрировал непротивление злу насилием: не вступился за слабого, спасовал. И, разумеется, такое свое поведение простить себе не мог, вспоминал о нем, переживал. Это воспоминание преследовало его, оно всплывало без спросу, непроизвольно, вслед за минутным счастьем, как будто за тем, чтобы омрачить его, на вечеринке, с женщиной; оно отравляло жизнь. Так что отчасти он даже свыкся с ним, полюбил смаковать его. Он представлял, что сумел бы постоять за себя и отомстить за зряшное унижение, если бы встреча повторилась. Этим циклом самообвинения и мести все заканчивалось.

Встретившись с Евлановым на базаре, Шаутин задался вопросом, что его так раздражает в этом парне и почему ему так необходимо расквитаться с ним. В его ли это силах? Полегчает ли ему, если он восстановит свое доброе имя и справедливость? «Не лучше ли признать, – думал Шаутин, – что я далеко не смельчак, не сорвиголова, не корсиканец какой-нибудь, который решился на кровавую вендетту? Может, мне лучше забыть все и смириться? Плетью обуха не перешибешь. Какой из меня мститель, к черту! Да, но с другой стороны мне необходимо воспитывать волю, а не смиряться. Ведь чтобы жить, жить счастливо, уверенно,

нужно побеждать, преодолевать свои слабости. Ведь это аксиома: каждый день идти на бой за жизнь и свободу, чтобы быть достойным их».

И Шаутин стал и с к а т ь в с т р е ч.

Однажды в воскресенье вечером он вышел из дому, надеясь на такую встречу, надеясь как-нибудь узнать, где живет его супостат. Вышел будто браचाщийся лось. Затрубил громко и призывно. Однако на его трубный глас никто не отозвался. Побродив около часу, Шаутин остыл, подумал, что сегодня ему, вероятно, не повезет, и повернул обратно. «И что за развлечение я себе выдумал? – подумал он с насмешкой. – Сидел бы сейчас у Ленки, пил чай с тортом...» У Шаутина была хорошая женщина, Елена Зиновьева, и дело шло к свадьбе. Но теперь, поруганному, ему и с ней было неприятно видеться. Было вообще неприятно делать что бы то ни было, не восстановив прежде свою честь...

На ловца и зверь бежит, и в этот вечер Шаутину повезло.

Евланов стоял на крыльце пивного бара с двумя приятелями, которых Шаутин тоже встречал прежде – в пивнушках, в забегаловках. Шаутин тотчас сообразил, что нужно делать, и непринужденно, как если бы шел домой, свернул в подъезд соседнего дома. Для наблюдения подъезд не годился: пришлось бы выглядывать, привлекать внимание. Поэтому он поднялся этажом выше, чтобы наблюдать за Евлановым из окна на лестничной площадке. Из окна проглядывалась вся улица и крыльцо бара. Накурившись, Евланов с приятелями снова вошли в бар. «Налижутся сейчас», – подумал Шаутин. Ждать пришлось долго; сидя на отопительной батарее и поглядывая в окно, Шаутин терял сыщическое познавательное любопытство, тайную власть мстителя, который забавляется отсрочкой мести; он опять заскучал, засомневался, даже подумал, что все это глупость, а жизнь – она какая-то до того простая, величественная, что все эти искусственные с нею заигрывания, все эти мелкие страстишки вокруг нее почти непристойны. Он собирался покинуть свой наблюдательный пункт, руководствуясь этим отрадным соображением, но в это время Евланов и его друзья вывалились на крыльцо, хохоча и толкаясь, – широкие, открытые парни. Подшофе они вели себя очень непринужденно: чувствовалось, что теперь им сам черт не брат. Праздно, вальяжно, обнявшись они толклись и уходили по середине улицы, не обращая внимания на злые гудки автомашин. Веселые парни, дружная компания. Шаутин двинулся следом. На перекрестке один из них распрощался с двумя другими; вслед ему прокричали:

– Так не забудь: сегодня в десять!

Тот вяло отмахнулся: мол, знаю без напоминаний.

Они свернули с проезжей части и теперь не спеша шли по тому же тротуару, что и Шаутин. Он хоть и медленно, но приближался к ним. В его расчеты не входило понапрасну мозолить им глаза; нужно было узнать, где Евланов живет, встречаться же с ним, с выпившим и потому наверняка агрессивным, сегодня Шаутин не испытывал никакого желания. Не дай бог, опознает еще. Можно было перейти на противоположный тротуар либо вообще повернуть, однако (для себя) это означало бы, что он струсил, а этим подонкам только покажи, что ты их боишься, моментально пристанут. Поэтому, хотя его так и подмывало стрекнуть в ближайшую подворотню, Шаутин упрямо, не замедляя шаг, шел на сближение. Парни вдруг остановились, нагло ухмыляясь, и теперь уже было ясно, что они поджидают его. Шаутин похолодел; страх, знакомый ему в такие вот решительные минуты, сковал душу

и разум, сердце бешено стучало, и пульс его отдавался в висках. Но этот страх не сломил самолюбивого упрямства; внутреннее упорное достоинство подсказывало ему, что паниковать нельзя; он скрепился и отчужденно, вызывающе и вместе с тем робко, вопросительно, бледнея посмотрел на Евланова. Пытался смотреть прямо в глаза, но не выдерживал – опустил взгляд. Чувствовал, что от страха с ним вот-вот случится медвежья болезнь.

– Слушай, друг!.. – непререкаемо загораживая дорогу, сказал Евланов. – Ты не за нами ли шастаешь? Я тебя что-то часто встречаю.

Евланов напустил на себя суровость и стал похож на молодого волка.

Страх достиг предела, но, при свидетеле и сохраняя достоинство, нельзя было обнаружить его, поэтому, странно косноязыча под немигающим взглядом знакомых оловянных глаз. Шаутин ответил:

– Ну, так что же из того?

Чувствуя, что сдержанностью и одновременно уклончивостью подтверждает догадку Евланова, Шаутин легонько отстранил его, намереваясь пройти. Улица, как на беду, была пустынна: никого, кто мог бы вмешаться...

– Нет, ты постой! – вдруг заорал Евланов, наскაკивая по-петушиному, ущемленный отстранительным жестом. – Где-то я тебя видел, и ты против меня выступал!

– Не выступал я против тебя, а прикурить просил, – нашелся Шаутин. – На улице...

Он понял, что не убедил Евланова, что эта образина, тужась скудной мыслью, действительно связывает с ним какое-то «выступление», не уйдет, пока не вспомнит, и драки не миновать; он и петушится-то именно для того, чтобы развязать драку. И Шаутин внезапно хладнокровно успокоился: он спокойно, презрительно посмотрел в круглые глаза Евланова и тихо, осевшим голосом, пренебрежительно и вместе с тем мягко, но так, чтобы сквозь мягкость прорывалось бешенство, сумасшедшая решимость в случае неповиновения даже убить, и напускная и в значительной мере действительная, сказал:

– Отойди.

Это подействовало, но Евланов не испугался, а как бы удивился дерзости. На миг самообладание покинуло Шаутина, потому что он понял вдруг, что в Евланове злоба не человеческая и нормированная, а патологическая. Болезненно побледнев, он готовился к худшему, но в это время второй парень, стоявший в соучастно-угрожающей позе, переменялся в лице и сказал:

– Гоша, пошли отсюда: милиция!

Еще не видя сзади патрульной милицейской машины, но уже поверив, что избавлен, Шаутин отодвинул Евланова, зная, что драка ему сейчас даже выгодна.

– Гоша. Не связывайся с ним... Вспомни вчерашнее!

Евланов, очевидно вспомнив это «вчерашнее», встрепенулся, и оба, один – уговаривая, второй – упираясь, скользнули во дворик частного деревянного дома. Шаутин, точно во власти сна, чувствуя, что побежать на виду у патруля будет недостойно, ускорил шаг. Он не оборачивался, чтобы не знать, как далеко машина, но уже слышал жужжание мотора. Когда он наконец оглянулся, то увидел, что она сворачивает на перекрестке. И тогда он бросился бежать. В носу свербило от запаха распаренных репейников. Он бежал по кривому переулку, не переводя дух, до самой реки, а там спрятался в ивняке (и даже не спрятался, потому что прятаться опять-таки было бы недостойно, а просто вошел в кусты) и прислушался, сдерживая рвущееся дыхание, оглохнув за гулкой стукотней сердца. Кусты сухо щекотались листьями; ему вдруг вспомнилось, что в детстве, когда играли в прятки, он так же, как сейчас, замирая в азарте, спешил схорониться, пока тот, кто водит, добормочет свою считалку; и как тогда, ему захотелось с размаху скатиться в ложбину, ушибиться о плотную землю, чтобы ощутить наслаждение игрой. Он присел на корточки за кустами и притаился.

И вовремя, потому что Евланов и его приятель уже перелезали через забор совсем неподалеку от того места, где он затаился. Хвастливо, возбужденно, как удачливые налетчики, скрывшиеся от погони, они поспрыгивали на землю и двинулись в его сторону. Он присел ниже и поджался. Только бы им не взбрело в голову заглянуть сюда по малой нужде.

– Где-то я его видел, а где – не помню, – сказал Евланов. – Пачка эта мне знакома, точно говорю.

– Склероз у тебя, Гоша, на почве алкоголизма. Может, пил где с ним?

– Нет.

– Ну, ты думай, а я пошел, мне некогда.

– Давай! В десять – как штык. Мы ждать не будем, – сказал Евланов.

– А где ты денег-то возьмешь?

– Знаю одно место...

Они расстались. Евланов пошел дальше по берегу, а его приятель свернул в переулок.

Шаутин уже не напрягался, и сердце выровнялось, как и тогда, в детстве, если водящий, озираясь, ощупными криулями крался к нему, чтобы застукать, но поворачивал, разыскивал и застукивал других, а в ложбину все не догадывался заглянуть, так что пропадали интерес к игре, и хотелось крикнуть: «Да тут я, тут!»

Евланов едва маячил, когда Шаутин вышел из укрытия. Он двинулся было домой, но подумал, что ведь так и не узнал, где Евланов живет. «Впрочем, зачем опять нарываться на неприятности? Узнаю в адресном столе. – Он замедлил шаги и остановился. – Ну конечно, всегда ты так, на полдороге застреваешь! Надо все выяснить до конца. До конца! Чтобы не мучиться больше! Разумеется, легче забиться в норку, как пескарь, – премудрый пескарь, который любит свою тоску бездействия... Просто посмотрю, где он живет, а все остальное в другой раз».

Опасность миновала, но Шаутин не хотел дать себе передышки. Он злился на себя за то, что так перепугался, спасовал при этой встрече; в нем закипал гнев, поднималась ярость. По сути дела, его снова унизили, он снова смалодушничал. Мысль об этом приводила его в бешенство.

Он старался не терять Евланова из виду, полнясь упрямством, как обиженный мальчик, который убегал, прятался, дрожал, трусил и который еще надеется отомстить уходящему обидчику, хотя и не знает как. Эта черта была ему свойственна с детства: он не прощал обиду и, ослепленный гневом, снова и снова лез на рожон. Снова проигрывал и снова лез. И так до полного изнеможения.

Они уходили к окраине. Тропинка глохла, вилась по-за огородами среди свалок, нещадно вонючих в густом теплом вечернем воздухе. Наконец огороды, сбегавшие к реке, кончились, начинался луг и поле. Евланов перелез через изгородь последнего дома, наклонился к грядке, сощипнул луковое перышко – и пропал. Шаутин, упустив его, побоялся идти задворками; ближайшим проулком он вышел на улицу. Он легко подсчитал номер последнего дома по левой стороне. Улица Набережная, дом №96. В нем шевельнулась мстительность. В самую пору было уйти, но он медлил: его гордыня не была удовлетворена, недовольство собой не исчезло, интерес сохранялся.

Уже сильно свечерело. Из калитки напротив вышла босая девчонка с ведрами, простодушно оглядела незнакомца, прошлепала к колонке; пока она нацеживала воду и, сособочившись, возвращалась, Шаутин бездельно переминался. А когда калитка захлопнулась за нею и в воздухе повисла угомонная тишина, уютная от мягких огней, сочившихся сквозь зашторенные разноцветные окна, тишина, подчеркнутая отдаленными паровозными гудками, Шаутин взгляделся, вслушался в направлении дома №96, по-кошачьи подкрался к нему, озираясь, не наблюдает ли кто за его странностями, юркнул в ломкие акации, забился под стену, обращенную в поле и ограждавшую от посторонних взоров с улицы, и затих, чтобы сквозь шелест разбуженных веток различить дыхание погони. Но ничего не различил, любовно, ласкательно подумал про себя: «Игрок! Доиграешься...» – и ему захотелось хихикнуть. За воротник укатилась капля росы – Шаутин нервно передернул плечами.

Вдруг окно над его головой распахнулось и оттуда вылетел горшок с геранью.

– Что ты делаешь, изверг? Я соседей позову... – продребезжал старушечий голос.

– Мамаша, все соседи легли бай-бай. – Шаутин узнал Евланова. – Деньги! – или я устрою вам неприятности. Я ясно выражаюсь?.. Ты, когда легавый бумагу давал, подписывал или нет? Подписывал. Знал, что вернусь? Знал. Зачем подписал? Деньги на бочку, а то я тебе устрою сладкую жизнь.

– Сынок, отдай ты ему, проклятому. Смотри-ка, он весь трясется, бешеный какой. Не связывайся с ним, Христа ради, пусть уйдет.

Старуха говорила скоро, задыхаясь. Застучал отодвигаемый стул.

– Ты меня знаешь... Ну, вот, давно бы так. «Милиция»! У меня милиция вот где сидит. А накапаешь – пиши завещание. Я из-за тебя, падла, четыре месяца на лесоповале пахал.

Шаутина лихорадило. Он обреченно вслушивался, не смея шевельнуться, выпрямиться, вдохнуть; он представлял Евланова с ножом, старуху и того, третьего, вероятно, ее сына, который боком подвигается к серванту, открывает шкатулку... Ему опять, как и тогда, в поезде, захотелось уйти, чтобы не свидетельствовать, чтобы не знать, чем кончится, не оглядывать совесть, забыться, смолчать. Он должен был войти сейчас в дом и положить предел истязательству, но он не смел. Гнев обуревал его, когда дело касалось его лично; когда же препирались другие, он предпочитал наблюдать...

Но тут произошло неожиданное. Шаутин, отвлеченный своими переживаниями, задумавшись, проворонил момент, когда Евланов, получив деньги, вышел во двор. Он очнулся, только когда вблизи уже шелестели его шаги; сообразив, что в комнате давно утихло и, значит, это Евланов, Шаутин, не помня себя, побежал в поле, но, испугавшись, что Евланов его увидит в столь трусливой роли, повернул обратно, подбежал к окну и вскарабкался на подоконник, разбросав цветочные горшки. Он смутно понимал, что делает, но в эту минуту и в роли позорного соглядатая ему не хотелось встречаться с Евлановым. Вытаращенные глаза, писклявый вскрик чистенькой старухи, оборонительное двуперстие ее вскинутых рук, застылый, неочухавшийся, нутряной взор толстогобубого мужика, неопределенно знакомого беспомощностью и глубокой непротивленческой грустью, черепки на полу и переполох, – все это, взыскующее, обременительное для совести, все-таки меньше ужасало, чем расплатные шаги за спиной. С какой-то дьявольской изобретательностью угадав, что эти двое еще не скоро опомнятся, он, соскочив, бесшумно прикрыл окно и быстро зашторил его, успев, однако, заметить, что Евланов, выйдя из-за угла, привлеченно остановился. Он испуганно отстранился от окна и сказал, срываясь и не договаривая:

– Я... Где дверь?

Старуха, готовая, казалось, выстрелить глазами, подчиненно и заторможенно, как пленный после окрика, указала на дверь. Он ринулся туда и закрыл ее на крючок; прислонился к косяку, но тут же сорвался, прокрался к шторе и, прячась, отодвинул: Евланов стоял на том же месте. Шаутин зацепенел и словно бы задумался. Старуха, загипнотизированная целенаправленными прыжками незваного гостя, его уверенным хозяйничаньем, молчала: ее сбивало с толку, что новый грабитель сам кого-то боится. Первым очнулся ее сын. Он поднялся с дивана, шагнул и сказал веско и боязливо:

– Вам кого?

Шаутин длинно посмотрел на него, усиливаясь понять вопрос.

– Я ищу... Он был здесь?

Шаутин затруднялся ответить исчерпывающе, но скрыть, что залез в окно с перепугу; лучше уж дать понять, что он ищет Евланова. К тому же, его беспокоило, что он уже где-то видел этого мужика. А когда тот уже поднимал руку, чтобы удостовериться, что Евланов здесь был, и указать, где его можно найти теперь, Шаутин, опасаясь, что его прогонят, и подыскивая другой вариант для оправдания своего вторжения, сказал с гримасой человека, которого не поняли:

– Нет, нет! Я знаю... – Он опять направился к окну, якобы затем, чтобы проверить, там ли Евланов, запнулся за горшок и, тронув штору, отдернул руку: – Я знаю, знаю! Я думал, что он все еще здесь. А он, значит, уже ушел?..

– Ушел он, ушел, только что! – опаматовалась старуха; в ее словах было безудержное желание выпроводить гостя. – Да вы его догоните, он только что ушел...

Суетливо, поспешно, – мол, теперь он все уяснил, – Шаутин пробормотал зачем-то спасибо, которое обожгло его стыдом; за спиной напряженно ждали, когда он уйдет, подталакивали, выпроваживали глазами; уже взявшись за дверную ручку, он сиротливо оглянулся – и ожидательные взоры уперлись в лицо, и в них был страх, что он останется. Он снял крючок...

И в комнату, щерясь, вломился Евланов.

– Что за шум, а драки нет! – развязно сказал он.

– Да вот и он сам! – Старуха обрадовалась, что все, наконец, выяснилось и они уйдут. – Друг-то твой тебя ищет. – Она обратилась к Евланову. – Ты только ушел, а он к нам в окно лезет, думал, что ты еще тут. Этак-то меня, старую, и с ума недолго свести...

Шаутин, как нашкодивший кот, сунулся было в дверь, но Евланов, узнавая, остановил его; недоумение в нем мешалось с бешенством.

– Стоп! Кто такой?

Попался!

И опять, точно после предварительного заключения наконец-то приговоренный, Шаутин внезапно успокоился, ибо действительное оказывалось легче воображенного. Он вперился взглядом в гладкую узкую скулу Евланова, подбирая, куда бы ударить; под туго натянутой кожей обозначились бугорки коренных зубов. Зубы-то хорошие...

– Ты зачем здесь? – Евланов угрожающе придвинулся, цепко ухватил Шаутина за плечо. Шаутин равнодушно ждал дополнительных действий; страшно ему уже не было, он был готов к драке. Нарочито прямо, твердо он посмотрел в оловянные глаза и, млея от своей дерзости, ответил:

– А за тобой слежу. Помнишь, на улице-то встретились?.. А еще раньше ты мне прикурить давал? Вот с того разу и слежу.

– Зачем? – выдохнул Евланов.

– А в ч е р а ш н е е – т о помнишь? – Шаутин звенел натянутой струной; он вдохновенно подхватил случайную реплику и понял, что попал в точку: Евланов обнаружил испуг.

– Что вчерашнее?

– А в поезде-то помнишь, мужика того? – не унимался Шаутин; его охватил какой-то восторг. – Лесорубы ехали. Помнишь? Ты после того четыре месяца отсидел...

– Врешь, шкура! Пятнадцать суток всего дали! – заорал Евланов. – Врешь, падла, все врешь! Что ты мне про мужика-то? Вот он, мужик-то...

Хотя и до его слов Шаутин уже узнавал в хозяине Егора, однако он потерялся до того, что опять попытался пройти. Евланов крепко приподнял его за ворот. Защищаясь, Шаутин почувствовал стальные мускулы врага.

Они сцепились. Зажатый в углу, где висели рабочие спецовки, Шаутин отталкивал Евланова – и не мог разозлиться; хотелось только, чтобы эта бессмысленная возня, эта путаница в фуфайках, эти рывки и толчки поскорее кончились. Евланов вел себя очень странно: он тормозил, но не пытался ударить, мгновениями он как будто к чему-то прислушивался. А когда Егор оттащил его, он, оскалась на Шаутина, прошипел: «Я еще с тобой встречу!» – и поспешно выскочил в дверь. Стычка продолжалась не больше минуты. Шаутин задыхался, гулко стучало сердце.

Егор с праздными руками покорно ждал новых происшествий, потом вышел на крыльцо, огляделся, заметил в соседском окне лица, выставленные из-под занавесок («Шумно было!»), и почувствовал по особой глубокой влажной тишине, что Евланов не вернется; и облегченно вздохнул.

Когда он возвратился, Шаутин еще возбужденно дрожал. Он был унижен; уйти сразу же вслед за Евлановым он не решился. Старуха ждала, но он не мог уйти, не переждав какое-то время. Ему хотелось немного успокоиться: стычка его взбудоражила. Он попросил воды умыться; пока старуха наливала умывальник и спрашивала, чего они не поделили, он враждебно стыдился Егора, его молчаливого свидетельства. При странных обстоятельствах они снова встретились.

– Я сейчас уйду, – сказал он бодрым голосом.

– Да мы тебя не гоним.

– Ну да... Я тут наскандалил, горшки перебил, а вы... Давайте, я черепки-то соберу.

– Ничего, пустяки, мы уберем.

– Нет уж, давайте. Я сам. А то еще нажалуетесь на меня.

– Ничего. Ничего, я сейчас уберу, – сказала старуха и пошла за веником. – А он, видно, вас боится: вон как сиганул...

– Гм...

– Такой настырный хулиган, спасу нет. Все ходит, выпрашивает деньги. Намедни приходил, три рубля унес. Сегодня опять... Да еще скандалит. Вы, молодой человек, интересуетесь, не из милиции ли?

– Нет.

Шаутин поддавался на лстивые душевные старухины слова.

– А мне показалось, будто вы его забрать приходили. Я об этом подумала, еще когда вы тут его искали. Вот, думаю, как нарочно: ушел, и денежки пропали.

– Помолчи! – Егор прикрикнул на нее: вся разыгранная сцена была ему неприятна.

– Да что молчать-то. Может, человек нам помочь сумеет. Зачем он к нам-то привязался ходить? Шел бы вон к Кроликовым, грабил бы их: богато живут.

– Да я не милиционер. Я хотел только спросить у вас его адрес. – Шаутин прикидывался деловым, маскируя смущение, успокаивался.

– Вы лучше не связывайтесь с ним, – сказал Егор. – Я сам виноват. Засадили парня из-за меня на пятнадцать суток. Не надо было мне подписывать эту бумагу...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.